

Т Р И К Н И Г И — О Д Н А Л Ю Б О В Ъ

# Лидия Чужовская

СОФЬЯ ПЕТРОВНА  
СПУСК ПОД ВОДУ  
ПРОЧЕРК

**ШЕ**  
РЕДАКЦИЯ  
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Личные истории XX века

Лидия Чуковская

**Софья Петровна. Спуск  
под воду. Прочерк**

«Издательство АСТ»

1940, 1949-1957, 1980-1996

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Чуковская Л. К.**

Софья Петровна. Спуск под воду. Прочерк / Л. К. Чуковская —  
«Издательство АСТ», 1940, 1949-1957, 1980-1996 — (Личные  
истории XX века)

ISBN 978-5-17-182809-7

В книгу вошли три повести, две художественные – “Софья Петровна” и “Спуск под воду” – и документальная – “Прочерк”, посвященные страшной эпохе – концу тридцатых годов. “Софья Петровна”, написанная на границе 1939 и 1940 годов, – первое в мировой литературе художественное осмысление террора, созданное не просто без надежды на публикацию, но с риском для жизни. “Спуск под воду” – повесть другого времени и нового витка репрессий – начала пятидесятых. “Прочерк” – документальная книга о муже Лидии Корнеевны, физике-теоретике Матвее Бронштейне, арестованном и расстрелянном в 1938 году. Она дополняла и дописывала ее до последних дней жизни.

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-182809-7

© Чуковская Л. К., 1940, 1949-1957,  
1980-1996  
© Издательство АСТ, 1940, 1949-1957,  
1980-1996

## Содержание

Хранительница	6
Софья петровна	16
Конец ознакомительного фрагмента.	37

# Лидия Чуковская Софья Петровна. Спуск под воду. Прочерк

Серия «Личные истории XX века»

Художник *Андрей Бондаренко*

На переплете фото Л.К.Чуковской и М.П.Бронштейна из архива семьи Чуковских

Составитель и автор предисловия *Павел Крючков*



- © Чуковская Л.К., наследники.
- © Крючков П.М., предисловие.
- © Бондаренко А.Л., художественное оформление.
- © ООО «Издательство АСТ».

## Хранительница Павел Крючков

*Из-под каких развалин говорю,  
Из-под какого я кричу обвала...*

*Анна Ахматова.  
Надпись на книге. 1956*

*Маленькая, немоцная лира.  
Вроде блюда или скалки, что ли.  
И на ней сыграть печали мира!  
Голосом ее кричать от боли.  
Неприметный голос, неказистый,  
Еле слышимый, сброшенный со счета.  
Ну и что же! Был бы только чистый.  
Остальное не моя забота.*

*Лидия Чуковская. 1968*

Зима 1975 года, Переделкино. Лидия Чуковская бережно переложила в самый обычный письменный конверт небольшой клочок бумаги с обращенным к ней коротким посланием. Потом взяла фломастер (из-за больных глаз она могла писать только таким способом) и крупно вывела: “Орден”. Это была частная записка, которая, оказывается, давно ждала своего адресата в лапах ели на могиле отца Лидии Корнеевны – знаменитого писателя Корнея Чуковского. Тот конверт, в котором это письмо находилось, – вымок, некоторые буквы в послании – расплылись, но текст прочитывался: “Спасибо Вам, Лидия Корнеевна, за то, что Вы, человек и писатель, одна из немногих настоящих писателей, оставшихся в России”. Подпись – неразборчива, дата – тоже.

“Напоминаю, – написала чуть позже Чуковская в автобиографической книге «Процесс исключения», впервые выпущенной в Париже, в конце 1970-х, – что письмо это написано и получено мною в стране, где имя мое запрещено, где за каждую мою самиздатскую или тамиздатскую книгу человек рискует поплатиться тюрьмой, где не печатается ни одна моя новая строка; где из всех библиотек уже изъяты мои прежние книги, а из каталогов – названия. Меня нет и меня не было...”

•••••

Я пишу свои заметки, пытаюсь догадаться, кем и как будет прочитан этот большой том, в который вошли – одна за другою – три заветных книги Чуковской: две художественных (первая создана на границе 1939–1940-х, вторая – в 1949–1957-м) и одна – документальная, которая не была закончена (у читателя – вариант 1980–1985, с крохотным дополнением первой половины 1990-х)<sup>1</sup>.

Линия расположения (последования) важна здесь не только потому, что она – логична; эти книги словно бы “вырастают” одна из другой и “прорастают” друг в друга: перед читателем

---

<sup>1</sup> При подготовке настоящего тома мы ориентировались на издания “Софья Петровна: Повести, стихотворения” (М.: Время, 2012) и “Прочерк” (М.: Время, 2009), подготовленные при непосредственном участии Елены Цезаревны Чуковской. – Примеч. ред.

– своего рода “шкатулка с тройным дном”, обернувшаяся высоким и трагическим триптихом, особой симфонией классической русской прозы.

За тех, кто с этими тремя книгами уже знаком и теперь их перечитает с тем или иным чувством, – я не тревожусь, это более чем сознательный поступок с их стороны, и я верю, что он будет пропитан той самой “горькой радостью”, о которой писала Анна Ахматова, вспоминая о своем друге и великом переводчике Михаиле Лозинском.

А вот те, кто впервые? Мне хочется попытаться сказать о Чуковской что-то важное, может быть, и не своими, а чужими, наиболее точно найденными словами.

Таких слов, к счастью, немало.

Но я сейчас – о будущем читателе. Мне словно бы надо его о чем-то предупредить.

В самом конце прошлого столетия (как это сейчас осознать?) у меня написался о Лидии Корнеевне Чуковской пылкий лирический очерк. К тому времени все ее главные книги были уже изданы, знаменитые “Записки об Анне Ахматовой” вошли в читательский и научный оборот, удостоившись к тому же и государственной премии; а мемориальный музей Корнея Чуковского, который она волшебным образом создала и удержала, как и ныне, продолжал стоять на своем переделкинском месте и принимать посетителей. Ее посмертное столетие в 2007-м было отмечено большими памятными вечерами.

Казалось, чего же еще? И все-таки во вступлении к тому очерку у меня (еще тогда!) сложился мучительный вопрос к самому себе: не кажется ли мне, что ее – так и не узнали, не расслышали те, кому – через себя – она могла бы помочь?

Пожалуй, я оставляю этот вопрос открытым. Особенно в нынешние дни.

Быть может, мне просто начать со своей истории?

В 1974-м – год исключения Лидии Корнеевны из Союза советских писателей – я жил в переделкинском санатории для детей, больных астмой. Хорошо помню, как нас, неуклюжих легочников, раз в месяц водили “к Чуковскому”, в его литфондовскую дачу, недавно ставшую мемориальным музеем.

Ступени под ногами тихонечко скрипели, высокая дверь в просторную комнату медленно отворялась... Каждый раз мы становились свидетелями чуда, творящегося прямо на глазах: по желтым половицам носился блестящий паровоз, из трубы которого шел настоящий дым; лев, сидящий на книжной полке, говорил по-английски; на столе росло Чудо-дерево с настоящими маленькими башмаками, а пока деревянная шкатулка – с расположенным внутри зеркалом – играла древнюю японскую мелодию, мы, заглядывая в нее (только один раз в жизни!), загадывали желания.

Так продолжалось два года, пока астма не пошла на убыль.

Потом прошло еще шесть лет, и вот накануне школьного выпуска, это было самое начало 1980-х, – мне захотелось на один день вернуться в старое время и снова подняться по узким ступеням в комнату, полную неожиданностей.

Немного наискосок от знакомых зеленых ворот стояла легковая машина, из которой раздавались голоса, – там шел какой-то разговор. Когда мы с приятелем проходили мимо, голоса резко смолкли. Мы подергали запертую калитку: в музее был выходной.

Повернули назад, и, проходя мимо автомобиля, стоявшего на прежнем месте, я невольно задержал взгляд.

На меня внимательно смотрели две пары глаз – на заднем сиденье расположились двое мужчин. Ну и что? Обычное дело.

Но странно – вот этот внимательный, прищуренный взгляд я запомнил.

Сейчас думаю – они ли это были? Может, да. А может, и нет. Но они были. В это время и в этом месте. А нужна им была она – Лидия Корнеевна Чуковская. “Я работаю – начальство тоже не сидит сложа руки. Я нахожусь под надзором – тайным или явным он значит в соответствующей графе, мне неизвестно. Я определила бы его так: заметный... На даче слежка за

моим домом ведется не постоянно, а порывами. Порою у ворот возникают топтуны, а порою часами стоит таинственное такси, не берущее пассажиров...»

Выброшенная из литературы, из библиотек, из воспоминаний, из судьбы собственного отца, в полной мере воплотившая любимое ахматовское присловье “вас здесь не стояло” – Лидия Корнеевна каким-то чудом не была выброшена из Дома, дома-музея. Она держала его и держалась за него. Исключенная отовсюду, она стала постоянным гостем в стихах друзей. В начале 1980-х в поэме Семена Липкина “Вячеславу. Жизнь переделкинская” – вы могли бы навещать ее хоть каждый день, не обращая внимания на прогуливающих рядом призраков советской литературы:

...Вон тот, с бородкою, растаял, как фантом.  
Спустился вечер синеватый.  
Давай-ка к Лидии Корнеевне зайдем.  
К ней можно: час пошел девятый.  
Один из тех, кто был никем, а стал никто,  
Сказал с кавказским простодушьем:  
“Мешает людям жить осиное гнездо.  
Мы дом Чуковского разрушим”.  
И в самом деле: дом, на воздухе держась,  
И сыростью изъеден, рухнет.  
Порвется ниточка – с прекрасным прошлым связь, —  
И драгоценный луч потухнет.  
Но по ночам не спит владелица луча,  
И свет бесстрашно укрепляя,  
Она работает, не слушаясь врача,  
Упрямая, полуслепая...  
Мы удивляемся тому, что день погас,  
Но зорко смотрит лунным кругом,  
И вспоминаем ту, кто связывает нас  
С бессмертьем, с правотой, друг с другом.  
Вспоминали они, конечно, Анну Ахматову.

...Через неделю я еще раз приехал в музей и попал на “экскурсию для взрослых”, которую вела секретарь Чуковского – Клара Лозовская.

И был буквально загипнотизирован фантастической драматургией этих пестрых стен и предметов и заново открывшимся образом писателя, известного мне лишь под именем Сказочника, автора “Мухи-Цокотухи” и “Мойдодыра”. Меня закружили имена: Блок, Маяковский, Мандельштам, Репин, Лев Толстой... Шелковая оксфордская мантия отражала малоизвестный мне свет великого труженика, освоившего десяток научных профессий, самоучки-многостаночника, цельного и нервного художника, покорившего русского читателя еще за десять лет до своей первой сказки.

Я приехал и в следующую субботу. И еще через неделю. И стал приезжать почти как “свой”, – еще ничего не зная про Лидию Корнеевну, кроме “экскурсионной” фразы Клары Израилевны: “Когда Корнея Ивановича не стало, его дочь решила сохранить комнаты, в которых он жил и работал, такими, какими он их оставил...”

В те дни, когда музей отдыхал от посетителей, Дом сторожила сама Лидия Корнеевна, уже знакомая мне по фотографии десятых годов начала века в кабинете Корнея Ивановича: маленькая девочка лет семи.

Именно Клара Лозовская и дала мне через некоторое время ксерокопию с заграничного издания “Софьи Петровны”. Навсегда запомнилось пронзительное место в повести, где несчастная, ослепленная режимом мать, уже изрядно постоявшая в бесконечных тюремных очередях, чтобы узнать о сыне (“арестованном по ошибке”), оценивает других “очередников”. “...Подумать только, все эти женщины – матери, жены, сестры вредителей, террористов, шпионов! А мужчина – муж или брат... На вид все они самые обыкновенные люди, как в трамвае или в магазине...”

И – поразительная дата под текстом: “ноябрь 1939 – февраль 1940”.

Очень скоро я узнал, что это – единственная художественная проза о безумии сталинских “чисток”, написанная именно здесь и тогда; о более чем добровольном самоослеплении “простого советского человека” и его неосознанном внутреннем предательстве – своих самых близких людей. Единственная.

Я прочитал “Софью” залпом, и тут же открыл заново, всматриваясь “в глубину кадра”.

Вот школьный товарищ сына главной героини, с которым они вместе уехали на Урал по “ответственной путевке” (еще совсем недавно фото комсомольца-передовика Николая Липатова было напечатано в “Правде”), приезжает в Ленинград, чтобы, разрыдавшись, сообщить маме своего друга о страшно-необъяснимом событии, случившемся с Колей:

“...Нужно было сейчас же бежать куда-то и разъяснить это чудовищное недоразумение. Нужно было сию же минуту ехать в Свердловск и поднять на ноги адвокатов, прокуроров, судей, следователей. Софья Петровна надела пальто, шляпу, боты и вынула из шкатулки деньги. Не позабыть паспорт. Сейчас же на вокзал за билетом.

Но Алик, утерев лицо шарфом, сказал, что, по его мнению, ехать сейчас в Свердловск решительно не имеет никакого смысла. Колю, как коренного ленинградца, лишь недавно проживающего в Свердловске, скорее всего отвезут в Ленинград. Уж не лучше ли ей повременить с поездкой в Свердловск? Как бы она с ним не разминулась! Софья Петровна сняла пальто, бросила на стол паспорт и деньги.

– Ключи? Вы оставили там ключи? – закричала она, подступая к Алику. – Вы оставили кому-нибудь ключи?

– Ключи? Какие ключи? – оторопел Алик.

– Боже, какой же вы глупый! – выговорила Софья Петровна и вдруг заплакала громко, в голос. Наташа (сослуживица героини. – П.К.) подбежала и обняла ее за плечи. – Да ключ... от комнаты... в вашем, как его... общежитии...

Они не понимали и смотрели на нее бессмысленными глазами. Какие дураки! А горло у Софьи Петровны теснило, и она не могла говорить. Наташа налила в стакан воды и протянула ей. – Ведь он... ведь его... – говорила Софья Петровна, отстраняя стакан, – ведь его... уже наверное... выпустили... увидели, что не тот... и выпустили... он вернулся домой, а вас нет... и ключа нет... Сейчас, наверное, будет от него телеграмма.

В ботах Софья Петровна повалилась на свою кровать. Она плакала, уткнувшись головой в подушку, плакала долго, до тех пор, пока и щека, и подушка не стали мокрыми. Когда она поднялась, у нее болело лицо и кулаком стучало в груди сердце”.

Забегая вперед скажу, что в феврале 1988 года “Софья Петровна” готовилась к выходу в ленинградском журнале “Нева”. Казенный цензор, соответствуя “ветрам перемен”, попросил заменить только слово “спецотдел” (речь шла о редакции, где работала героиня повести, обязательном для любого учреждения минифилиале КГБ) – на “Отдел кадров” или, в крайнем случае, на “Первый отдел”.

Лидия Корнеевна передала в редакцию следующее: “Ни одного слова менять не буду – як этому была готова. Пятьдесят лет я ждала, подожду еще пятьдесят”. Когда редактор отдела прозы Самуил Лурье (по словам Л.Ч., “виновник моего второго рождения в литературе”) пере-

дал эту фразу “по начальству”, прибавив что-то о возможном международном скандале, – “усталость паровоза” сработала: они махнули рукой.

Повесть вышла.

К февралю 1988 года я уже довольно регулярно наезжал в переделкинский дом Корнея Ивановича, написав за полгода до того заметку об этом мемориальном музее для одной из столичных газет (самодеятельному музею тогда все еще грозило уничтожение).

В моем ученическом тексте всего один раз упоминалось имя Лидии Корнеевны: что это она после смерти Корнея Чуковского решила сохранить его комнаты нетронутыми.

О том, что дочь Корнея Ивановича – запрещенный литератор, что она исключена из Союза писателей, я на момент написания заметки действительно не знал, поэтому обильные поздравления многих известных и малознакомых людей были для меня не вполне понятны. Помню, что звонили даже на завод, где я тогда работал, – прямо в сборочный цех. Оказалось, что это было одно из первых появлений имени Лидии Чуковской в печати после более чем полутора десятка лет умалчивания или упоминаний в том или ином списке “врагов советской власти”.

Кстати, список “прегрешений” Лидии Чуковской перед той самой властью открывался как раз зарубежной публикацией “Софьи Петровны” (впервые – с переменной названия, измененным именем главной героини и извинениями издателя, что книга-де печатается без ведома автора – повесть вышла в русском парижском издательстве “Пять континентов” в 1965 году; публикация на родине автора готовилась еще раньше, но подули ветра беспамятыства, “оттепель” рассосалась и рукопись писательнице вернули).

Разумеется, некоторые читатели повести (“а у нас в редакции все плакали”, сообщила одна сотрудница) сделали себе на память копии, дали почитать друзьям, ну а дальше сами понимаете.

Последним же камнем в “процессе исключения” Чуковской явилась по-герценовски пронзительная статья “Гнев народа” (1974) – где на примере публичного шельмования в прессе и на трибунах Пастернака, академика Сахарова и писателя Солженицына исследовалось хорошо отлаженное явление “нажатия кнопок”, то есть оболванивания тех, кто привык верить написанному в газетах и сказанному по радио. Иными словами – тех сотен тысяч дальних и близких “родственников” несчастной Софьи Петровны, которой уже сказали, что ее сын (вчерашний правоверный комсомолец и передовик) – обыкновенный террорист, признавшийся в своих “преступлениях”.

К тому же: “следствие располагает его подписью”.

Итак, после выхода моей газетной заметки о народном музее я и узнал, в какой такой дом езжу по выходным дням. Узнал – и в самом Доме, и из передач иностранного радио (помню, в частности, как зачитывали телеграмму Лидии Чуковской – Иосифу Бродскому в связи с Нобелевской премией; диктор подробно напомнил биографию поздравителя).

С самой Лидией Корнеевной мы не были знакомы, она приезжала в музей по будням.

Поскольку мои родители тоже изредка слушали “вражеские голоса”, они что-то знали и о Лидии Чуковской и об опальном музее, и, признаюсь, не очень-то одобряли мои поездки в Переделкино (“перестройка” хотя и разворачивалась полным ходом, но книги писательницы были тогда еще под запретом).

Вот тут-то и вышел номер “Невы” с “Софьей Петровной”, на публикацию которой в то время Лидия Корнеевна не особенно-то и рассчитывала.

Как только журнал оказался у меня в руках, я решил показать повесть родителям и, уходя рано утром на завод, оставил номер “Невы” на видном месте, с соответствующей пояснительной запиской. Вернулся я в тот день очень поздно, а на следующее утро меня на кухонном столе ожидало, в свою очередь, послание от мамы, в котором она благодарила своего сына за

“просветительство” и тут же – слова восхищения о “Софье” и ее авторе. Слова были горячими и торжественными.

В тот год мы и познакомились в Москве с Лидией Корнеевной. Я, смущаясь, рассказал ей о нашей с мамой читательской истории и попросил надписать мне журнальную публикацию, которую взял с собою. Прихватил и мамину записку ко мне – похвастаться.

Лидия Корнеевна медленно прочитала мамино письмо, а журнал оставила у себя и сказала, что через некоторое время он вернется ко мне.

Я тогда еще не знал, что она не терпит никаких импровизаций.

Наконец, журнал мне передали. Дарственная надпись на публикации “Софьи Петровны” содержала в себе нечто ни с чем не сравнимое: “...с благодарностью за попечение о нашем Доме и показанную мне мамину записку, которую мне очень хотелось бы присвоить”. Через некоторое время я выполнил эту просьбу.

Почти ничего не помню из моей первой встречи, кроме добрых, строгих и, кажется, беззащитных глаз за толстыми стеклами очков. Кроме крепкого рукопожатия и высокого роста. Кроме благородства, легкости и уважительной интонации. Вблизи она оказалась совсем не такой непреклонно-строгой, как мне рассказывали. Никакого “памятника мужеству”. Лидия Корнеевна и не считала себя особенно мужественной. Мужественными, по ее мнению, были Сахаров, Солженицын, Марченко, Юрий Галансков или Василь Стус.

А у нее “всего лишь” отняли право на читателя...

Наверное, в этом смысле она была “старомодным” литератором вроде Короленко или Толстого – когда в ее родной стране творилось беззаконие и безобразие, она не могла оставаться спокойной. И – отвечала. Звучание Слова играло здесь единственно главную роль, она создавала свои статьи сразу и навсегда. Потому они и должны войти во все хрестоматии. Автор знаменитой в 1960-е годы книги “В лаборатории редактора”, многолетняя ученица Маршака, Лидия Корнеевна не могла оказаться неточной.

Ни в букве, ни в запятой, ни в интонации.

Но как ей удавалось соединять это с невероятной страстностью голоса?

Может быть, потому, что она всю жизнь писала лирические стихи? Точнее, стихотворный дневник.

Живем, не разнимая рук.  
Опасности не избегая.  
Обыденное слово “друг”  
Почти как “Бог” воспринимаю.  
Увы, все реже на пороге  
Хранительные эти боги.

В ноябре 1993-го, еще при жизни Лидии Корнеевны, в “Комсомольской правде” (к тому времени газета дважды писала о Чуковской и ее книгах) вышла статья писателя и журналиста Дмитрия Шеварова “Чуковская осень”, посвященная, главным образом, начавшейся в Санкт-Петербурге публикации Второго тома “Записок об Анне Ахматовой”.

Прозвучали простые и важные слова, которые – спустя три десятилетия – мне хочется привести и здесь:

“Записки Лидии Чуковской беспримерны (конечно, лишь для нашего расхристанного времени) по скрупулезности и строгости. Строгости к своей памяти, к себе минувшей и к себе настоящей. В примечании к публикации Лидия Чуковская пишет: «Я утверждаю, что ее (Ахматовой. – Д.Ш.) слова, если я брала их в кавычки или ставила перед ними тире, записаны мною без перевода на язык другого поколения. Они не пересказаны мной, а воспроизведены слово в слово...»

Наверное, вот это и есть классика?

Много лет Лидия Корнеевна Чуковская была непризнанным, но очевидным классиком литературного поведения (или, если угодно, поведения в литературном мире). Она называла зло злом, предательство – предательством и, что важнее всего, никогда не опаздывала с помощью отринутым, заклеянным или просто несчастным литераторам. Она стала гением помощи, сестрой милосердия русской литературы. За эту безоглядность в помощи ее исключали из Союза писателей, не давали опубликовать воспоминания даже о собственном отце, а в книгах о Корнее Чуковском вытравляли имя его дочери Лидии, словно ее и не было... После книги об Ахматовой, думаю, не останется тех, кто не признал бы, что Чуковская – классик русской мемуаристики, классик как таковой, каким он только и может мыслиться в России – в высочайшем единении Поступка и Слова”.

...Мне очень неловко, что я – ни в какой мере не заслуженно – вернусь сейчас опять к своей истории: но я не могу, пользуясь случаем, не привести здесь слова из последней дарственной надписи Чуковской – как раз на публикации все в той же “Неве”, то есть на первых главах Второго тома “Записок об Анне Ахматовой”.

Мне кажется, что это высказывание – необходимо-достоверный штрих к портрету той, с чьей прозой читателю предстоит нынче встретиться. Перечитывать эти слова мне мучительно больно. И все-таки: мало я знаю таких обреченно честных слов о своем главном и единственном деле.

“...С пожеланиями успехов на трудных путях и перепутьях российской словесности – с предупреждением, что все пути и перепутья невыносимы, безрадостны, не дают ни покоя, ни счастья, ни при каких обстоятельствах – даже в случае удачи – и все ж... раз ступили – уже никуда не денетесь”.

.....

...Когда ей позвонили и сообщили, что решение о ее исключении из Союза писателей отменено и что – “несмотря ни на что” – восстановители очень надеются на некую нерушимую внутреннюю связь Чуковской с этим самым Союзом, – Лидия Корнеевна хладнокровно сообщила им, что само существование писательской организации связано для нее только с кампанией по уничтожению переделкинского дома-музея.

После перестройки ее открытые письма носили, казалось, узко литературный, “служебный” характер. Но это только казалось. Понятия, чистоту которых она отстаивала, остались прежними. Например, подпись под коллективными протестами – в защиту оболганных газетой “Советская Россия” писателей Льва Копелева и Анатолия Наймана.

За восстановление имени и книг Александра Солженицына.

Против уничтожения журнала “Горизонт”.

Было и письмо в демократическую писательскую организацию “Апрель” с просьбой-требованием не предоставлять руководящей должности в этой организации покаявшемуся литератору Рекемчуку (в организации он пусть работает, но не руководит!). Тому самому Рекемчуку, который в свое время приложил руку к изгнанию из Союза Александра Галича, Владимира Корнилова и самой Лидии Корнеевны. И еще – подпись под статьей против посмертного приговора Ленинской премии Анне Ахматовой мне тоже памятна.

А вот как она описала финал своего процесса исключения в одноименной книге:

“...рев стоял страшный, и силы мои, и время мое истекли, и вместо всех заготовленных выписок о неизбежной победе слова я проговорила напоследок:

– С легкостью могу предсказать вам, что в столице нашей общей родины, Москве, неизбежны: площадь имени Александра Солженицына и проспект имени академика Сахарова... Громкий хохот”.

Так глумились – писатели.

Стоит ли напоминать, что названные Чуковской имена вошли в столичную топонимику – кто бы и как к этому не относился – “еще при нашей жизни”?

.....

Поскольку я не знаю, когда мне еще представится случай написать о Лидии Чуковской на подобном книжном пространстве, вспомню слова виртуозного эссеиста и критика (и, как я уже упоминал, редактора отдела прозы при первой публикации в СССР “Софьи Петровны” в “Неве”) – Самуила Лурье (1942–2015).

Ценивший и любивший и саму Лидию Корнеевну, и ее произведения Лурье писал о ней много, откликался почти на каждое издание (он застал и выход из печати нумерованного 12-томного “Собрания сочинений Лидии Чуковской”).

Но его маленькое газетное эссе 2007-го “Прописные буквы”, сложенное к столетию писательницы, – это нечто особенное.

Самуил Аронович повел речь о современном опустошении культурной памяти, о “разгерметизации салона самолета”, о вылете в никуда чуть ли не всех тех слов, “...какими следовало бы говорить про Лидию Корнеевну – про ее необыкновенную жизнь, про ее поразительные, захватывающие, мучительные книги”.

“...Можно сказать и так, что вышел для этих слов срок годности. Одни утратили свой смысл, другие приобрели противоположный. Причем началась эта порча вообще-то давно (еще Салтыков, с его тревожным обонянием, ворчал, якобы недоумеая: дескать, был же смысл, что-то же они значили – такие, допустим, слова, как Совесть или там Правда, а кто их помнит?) – и с ускорением продолжалась целое столетие – и вот finita.

В самом деле – ну заставьте хоть свой внутренний голос произнести, предположим: «величие души» – нет, серьезно! серьезно! – получилось? То-то и оно.

А Лидия Корнеевна спокойно, уверенно и правильно пользовалась (и в текстах, и в быту) даже таким термином, как честь. Она умела думать всеми этими – с прописных букв – существительными, чувствовать и действовать по этим архаичным глаголам. Умела, вообразите, благоговеть. Презирать. Сострадать.

Сразу как она умерла все эти лексемы утратили отношения с реальностью. (Так осенью один резкий порыв ветра срывает с берез последнюю, прозрачную листву – разом всю, но не дает упасть, истлеть спокойно.) Как если бы их ценность обеспечивалась исключительно существованием Лидии Чуковской.

Потому что она была – скажем под протокол, для школьного учебника – последним представителем русской классической литературы. Ее великая дочь.

Догматы этой литературы вошли в ее кровь и плоть буквально: придали непобедимую силу ее характеру. Она олицетворяла эти догматы, воевала за них – одна против целой эпохи, за них положила свою долгую, грустную жизнь...”

Вот с такой писательницей предстоит – через три ее заветные книги – встретиться тем, кто откроет эту классическую литературу для себя впервые.

В другой своей статье к столетию Чуковской тот же Лурье сказал драгоценные слова о произведении, открывающем наш том: “...что бы ни случилось со страной, с человечеством, с литературой, со всеми остальными сочинениями Лидии Чуковской, – повесть под названием «Софья Петровна» навсегда останется необходимой вещью для каждого и любого, кому хотелось бы понять, как устроена жизнь”.

И тут я не могу не вспомнить, как совсем недавно, в нашем разговоре с издателем этой самой книги, к которой я пишу свои заметки, прозвучало отчаянное: “...мне всё время хотелось схватить эту Софью Петровну за плечи и как следует встряхнуть!”

Мне – тоже. Разбудить от летаргии, замешанной на слепоте и “величаво-безысходной” – по любимому Лидией Корнеевной Блоку – глупости.

Но вот парадокс: сочинение и героиня странным образом “обошли” своего создателя.

Да, Софья Петровна – прямо на глазах читателя – неуклонно повреждается в рассудке. Да, ее Колю “могли завлечь”, “ведь и без причины ничего не бывает”, но вот он уже возвращается домой, и вот-вот директор завода назначит Колю своим помощником, “правой рукой”. “... Местком приобрел для него путевку в Крым – роскошная там природа, я бывала в молодости. А когда он вернется, он женится...” И т. д. и т. п.

Никуда он не возвращается, конечно.

Но при всей еле заметной саркастичности (а местами и даже отчетливой сатиричности) – героиню возрастающе и мучительно жалко (чего, увы, в свое время не почувствовал опытный Твардовский). И в этом, помимо прочего, гений “Софьи”. Для меня эта повесть, навсегда зарифмованная с “совестью”, – была и остается сродни кристаллически-филигранной поэме, в которой нет ни одного лишнего слова, жеста или детали. Не зря иные трудолюбиво-неравнодушные учителя литературы (такие еще есть) создают по этому произведению специальные уроки и даже пишут методические пособия.

.....

Лидия Корнеевна была литератором, что называется, *rag excellence*, и, хотя обладала тем, что называется “общественным темпераментом”, очень хотела, чтобы и относились к ней как к литератору. Никогда не принадлежавшая ни к одной политической организации, она, друг и соратник Андрея Сахарова, отказалась войти в Комитет защиты прав человека.

“Я им сказала, что защищать и подписывать я буду, но работать, тем хуже – числиться – нет. Это дело профессионалов”.

В “Записках...” упоминается, что Ахматова плакала, когда Чуковская читала ей “Софью Петровну”. Я знаю, что те же самые эмоции испытал и Андрей Дмитриевич, когда Лидия Корнеевна прочитала ему в Переделкине свой “Гнев народа”.

Примечательно, что и беллетристическую повесть, записанную в школьной тетради молодой тридцатитрехлетней женщиной (страницы нумеровала маленькая дочь автора, будущая Елена Цезаревна Чуковская) и ослепительно-грозный памфлет – пера почти семидесятилетней писательницы – создавал один и тот же человек.

И опять – трудно удержаться! – я обращусь к Самуилу Лурье.

“... Чудо – что она написала, что вообще какой-то человек в России тогда мог дойти до такой глубины, чтобы написать «Софью Петровну». Где впервые в мировой литературе именно это и описано, скрупулезно ясно: как становится человек советским. То есть существом нового подвида, с мышлением приплюснутым (Набоков это угадал), двумерным. Как человека – и с ним целую страну – день за днем для этого жестоко сводят с ума. Кстати, заметите ли вы, дальние братья из будущего, как странно эта повесть – с таким финалом, что и у Шекспира поискать, – эта повесть, говорю, фактически завершающая русский классический канон, – как загадочно (потому что нисколько не преднамеренно) похожа она на гоголевскую «Шинель»?»

Как надо было верить в литературу – как в наивысшую инстанцию вечной справедливости, чтобы написать такое произведение в полной темноте, под свирепый рев торжествующего злодейства, на скользком краю бездны, в которую только что сбросили любимого человека...”

.....

Вот об этом любимом человеке, о гениальном ученом, талантливом писателе-просветителе и муже Лидии Корнеевны – Матвее Петровиче Бронштейне и написан неоконченный “Прочерк”, завершающий книгу, которая перед вами.

Корней Чуковский, долгое время хлопотавший о зяте (который за время этих хлопот уже был расстрелян) говорил, что от Бронштейна исходила особая “духовная радиация”.

Название документальной повести – короткая горизонтальная линия в “Свидетельстве о смерти”.

Мы расскажем, мы еще расскажем,  
Мы возьмем и эту высоту,  
Перед тем, как мы в могилу ляжем,  
Обо всем, что совершилось тут.

И черный струп воспоминанья  
С души без боли упадет,  
И самой немоты названье  
Ликуя, рот произнесет.

*Лидия Чуковская. 1944*

От одного человека, прочитавшего “Прочерк” я недавно услышал такое: после этой книги человек не может не измениться, до нее он – один; после – другой.

Что же до срединного “Спуска под воду”, то здесь я поделюсь реакцией моего 23-летнего сына (полюбившего Лидию Корнеевну через “Софью Петровну”, воспоминания дочери об отце “Памяти детства” и публицистику, – о которой он мне постоянно твердит, что это написано, как будто сегодня). На днях он вбежал ко мне в комнату и выпалил с порога: “Прочитал, наконец, «Спуск под воду»!” “И что? – осторожно спросил я его. – Тебе понравилось?” “...Это – ее душа, она сама. И какая лирика!”.

Ну что тут скажешь? Лидии Корнеевне было бы радостно. И хотя “Спуск” – не менее мучительная и “обжигающая” вещь, нежели “Софья” (повесть о сознательном предательстве человеком самого себя, о той последней стадии, до которой может дойти явление объяснимого, но невозможного для понимания конформизма), она, оставаясь сугубо художественным и, действительно, очень лирическим сочинением, – в каком-то смысле почти открыто автобиографична.

Перечитывая повести Лидии Чуковской “Софья Петровна”, “Спуск под воду” и неоконченный “Прочерк” (впервые напечатанный более двух десятилетий тому назад благодаря героическим усилиям дочери автора), – я не могу не думать о том, какого *единственного* писателя-собеседника может обрести иной думающий читатель.

2023

*Я вряд ли бы решился на предисловие к сборнику прозы Чуковской, если бы не было моего счастливого общения с помощниками, сомышленниками и друзьями Лидии Корнеевны: многолетним хранителем Дома-музея Корнея Чуковского – Сергеем Агаповым и выдающимся историком-архивистом – Анатолием Разумовым.*

*...И конечно, если бы не было в моей жизни незабвенных Клары Лозовской (1924–2011) и Елены Чуковской (1931–2015), – памяти которых я низко кланяюсь.*

П.К.

## Софья петровна

### 1

После смерти мужа Софья Петровна поступила на курсы машинописи. Надо было непременно приобрести профессию: ведь Коля еще не скоро начнет зарабатывать. Окончив школу, он должен во что бы то ни стало держать в институт. Федор Иванович не допустил бы, чтобы сын остался без высшего образования... Машинка давалась Софье Петровне легко; к тому же она была гораздо грамотнее, чем эти современные барышни. Получив высшую квалификацию, она быстро нашла себе службу в одном из крупных ленинградских издательств.

Службная жизнь всецело захватила Софью Петровну. Через месяц она уже и понять не могла: как это она раньше жила без службы? Правда, по утрам неприятно было вставать в холоде, при электрическом свете, зябко было ожидать трамвая в толпе невыспавшихся, мрачных людей; правда, от стука машинок к концу служебного дня у нее начинала болеть голова – но зато как увлекательно, как интересно оказалось служить! Девочкой она очень любила ходить в гимназию и плакала, когда ее из-за насморка оставляли дома, а теперь она полюбила ходить на службу. Заметив ее аккуратность, ее быстро назначили старшей машинисткой – как бы заведующей машинописным бюро. Распределять работу, подсчитывать страницы и строчки, скалывать листы – все это нравилось Софье Петровне гораздо больше, чем самой писать на машинке. На стук в деревянное окошечко она отворяла его и с достоинством, немногословно, принимала бумаги. По большей части это были счета, планы, отчеты, официальные письма и приказы, но иногда рукопись какого-нибудь современного писателя. “Будет готово через 25 минут, – говорила Софья Петровна, взглянув на большие часы. – Ровно. Нет, ровно через 25, не раньше”, – и захлопывала окошечко, не пускаясь в разговоры. Подумав, она давала бумагу той машинистке, которую считала наиболее подходящей для данной работы, – если бумагу приносила секретарша директора, то самой быстрой, самой грамотной и аккуратной.

В молодости, скучая, бывало, в те дни, когда Федор Иванович надолго уходил с визитами, она мечтала о собственной швейной мастерской. В большой, светлой комнате сидят милостивые девушки, наклонясь над ниспадающими волнами шелка, а она показывает им фасоны и во время примерки занимает светской беседой элегантных дам. Машинописное бюро было, пожалуй, еще лучше: как-то значительнее. Софье Петровне зачастую теперь доводилось первой, еще в рукописи, прочесть какое-нибудь новое произведение советской литературы – повесть или роман, – и, хотя советские романы и повести казались ей скучными, потому что в них много говорилось о боях, о тракторах, о заводских цехах и очень мало о любви, она все-таки бывала польщена. Она стала завивать свои рано поседевшие волосы и во время мытья добавляла в воду немного синьки, чтобы они не желтели. В черном простом халатике – но зато в воротничке из старых настоящих кружев – с остро очиненным карандашом в верхнем кармане, она чувствовала себя деловитой, солидной и в то же время изящной. Машинистки побаивались ее и за глаза называли классной дамой. Но слушались. И она хотела быть строгой, но справедливой. Она приветливо беседовала в перерыве с теми из них, которые писали старательно и грамотно, – беседовала о трудностях директорского почерка и о том, что красить губы вовсе не всем идет, – а с теми, кто писал “репитиция” и “коликтив”, держала себя надменно. Одна из барышень, Эрна Семеновна, сильно действовала Софье Петровне на нервы: ошибка чуть ли не в каждом слове, нахально курит и болтает во время работы. Эрна Семеновна смутно напоминала Софье Петровне одну наглую горничную, служившую у них когда-то в старое время.

Горничную звали Фани, она грубила Софье Петровне и флиртowała с Федором Ивановичем... И за что только такую держат?

Больше всех машинисток в бюро нравилась Софье Петровне Наташа Фроленко, скромная, некрасивая девушка с зеленовато-серым лицом. Она всегда писала без единой ошибки, поля и красные строки получались у нее удивительно элегантно. Глядя на ее работу, казалось, будто и на бумаге написана она какой-то особенной, и машинка, наверное, лучше, чем другие машинки. Но в действительности и бумага и машинка были у Наташи самые обыкновенные – а весь секрет, подумав только, заключался в одной аккуратности.

Машинописное бюро было отделено от всего учреждения деревянной форточкой, покрытой коричневым лаком. Дверь была постоянно заперта на ключ, и разговоры велись через форточку. В первое время Софья Петровна никого в издательстве не знала, кроме своих машинисток, да еще курьерши, разносившей бумаги. Но постепенно перезнакомилась со всеми. Миновали какие-нибудь две недели, и в коридоре к ней уже подходил поболтать солидный, лысый, но моложавый бухгалтер: оказывается, он узнал Софью Петровну – когда-то, лет двадцать тому назад, Федор Иванович очень успешно лечил его. Бухгалтер увлекался лодочным спортом и западноевропейскими танцами – и Софье Петровне было приятно, что он и ей посоветовал записаться в их танцевальный кружок. С ней начала здороваться пожилая и вежливая секретарша директора, ей кланялся и заведующий отделом кадров, а также один известный писатель, красивый, седой, в бобровой шапке и с монограммой на портфеле, всегда приезжавший в издательство в собственной машине. Писатель даже спросил у нее однажды, как ей понравилась последняя глава его романа. “Мы, литераторы, давно заметили, что машинистки – самые справедливые судьи. Право, – сказал он, показывая в улыбке ровные вставные зубы, – они судят непосредственно, они не одержимы предвзятыми идеями, как товарищи критики или редакторы”. Познакомилась Софья Петровна и с парторгом Тимофеевым, хромым, небритым человеком. Он был хмур, говорил, глядя в пол, и Софья Петровна слегка побаивалась его. Изредка он подзывал к деревянному окошечку Эрну Семеновну – с ним приходил завхоз. Софья Петровна отпирала дверь, и завхоз перетаскивал машинку Эрны Семеновны из машинописного бюро в спецчасть. Эрна Семеновна следовала за своей машинкой с победоносным видом: как объяснили Софье Петровне, она была “засекречена”, и парторг вызывал ее в спецчасть переписывать секретные партийные бумаги.

Скоро Софья Петровна знала уже всех в издательстве – и по фамилиям, и по должностям, и в лицо: счетоводов, редакторов, техредов, курьерш. В конце первого месяца своей службы она впервые увидела директора. В директорском кабинете был пушистый ковер, вокруг стола – глубокие мягкие кресла, а на столе – целых три телефона. Директор оказался молодым человеком, лет тридцати пяти, не более, хорошего роста, хорошо выбритым, в хорошем сером костюме, с тремя значками на груди и с вечным пером в руке. Он беседовал с Софьей Петровной какие-нибудь две минуты, но за эти две минуты трижды звонил телефон, и он говорил в один, сняв трубку с другого. Директор сам пододвинул ей кресло и вежливо спросил, не будет ли она так добра остаться сегодня вечером для сверхурочной работы? Она должна пригласить машинистку по своему выбору и продиктовать ей доклад. “Я слышал, вы прекрасно разбираете мой варварский почерк”, – сказал он ей и улыбнулся. Софья Петровна вышла из кабинета гордая его властью, польщенная его доверием. Воспитанный молодой человек. Про него рассказывают, будто он рабочий, выдвиженец, – и действительно, руки у него, кажется, грубые, – но в остальном...

Первое общее собрание служащих издательства, на котором довелось присутствовать Софье Петровне, показалось ей скучным. Директор произнес коротенькую речь о приходе к власти фашистов, о поджоге рейхстага в Германии и уехал на своем “форде”. После него выступил парторг, товарищ Тимофеев. Говорить он не умел. Между двумя фразами он замолкал

так прочно, что, казалось, никогда не заговорит опять. “Мы должны кон-стан-тиро-вать...” – скучно говорил он и умолкал. “Наш производственный портфель...”

Потом выступила председательница месткома, полная дама с камеей на груди. Потирая и поламывая свои длинные пальцы, она произнесла, что ввиду всего происшедшего в первую очередь необходимо уплотнить рабочий день и объявить беспощадную войну опозданиям. Напоследок, истерическим голосом она сделала краткое сообщение о Тельмане и предложила всем служащим записаться в МОПР. Софья Петровна плохо понимала, о чем речь, ей было скучно и хотелось уйти, но она боялась, что это не полагается, и строго взглянула на одну машинистку, пробиравшуюся к дверям.

Однако скоро и собрания перестали быть скучными для Софьи Петровны. На одном из них директор, докладывая о выполнении плана, говорил, что высокие производственные показатели, которых надо добиваться, зависят от сознательной трудовой дисциплины каждого из членов коллектива – не только от сознательности редакторов и авторов, но и уборщицы, и курьерши, и каждой машинистки. “Впрочем, – сказал он, – надо признать, что машинописное бюро под руководством товарищ Липатовой работает уже и в настоящий момент с исключительной четкостью”.

Софья Петровна покраснела и долго не решалась поднять глаз. Когда она решилась наконец посмотреть кругом, все люди показались ей удивительно добрыми, красивыми, и с неожиданным интересом она прослушала цифры.

## 2

Все свободное время Софья Петровна проводила теперь с Наташей Фроленко. А свободного времени становилось у нее все меньше и меньше. Сверхурочная работа, а чаще того – заседания месткома, куда вскоре кооптировали Софью Петровну, отнимали у нее чуть ли не все вечера. Коля все чаще должен был сам разогревать себе обед и в шутку называл Софью Петровну “мама-общественница”. Местком поручил ей собирать профсоюзные взносы. Софья Петровна мало задумывалась над тем, для чего, собственно, существует профсоюз, но ей нравилось разлиновывать листы бумаги и отмечать в отдельных графах, кто заплатил уже за нынешний месяц, а кто нет, нравилось наклеивать марки, сдавать безупречные отчеты ревизионной комиссии. Ей нравилось, что можно в любую минуту войти в торжественный кабинет директора и шутливо напомнить ему о его четырехмесячном долге, и он так же шутливо извинится перед терпеливыми товарищами из месткома, вынет бумажник и заплатит. Даже хмурому парторгу можно было безо всякого риска напоминать о долгах.

В конце первого года службы в жизни Софьи Петровны произошло торжественное событие. Она выступила на общем собрании служащих от имени всех беспартийных работников издательства. Произошло это так. В издательстве ждали приезда каких-то ответственных московских товарищей. Завхоз, лихой паренек с пронзительным пробором, похожий на офицерского денщика, целыми днями носился по издательству, на собственной спине таская какие-то рамы, и в самое неподходящее время напустил на машинописное бюро полотеров. Однажды в коридоре к Софье Петровне подошел хмурый парторг. “Партийная организация совместно с месткомом, – сказал он, глядя, по обыкновению, в пол, – наметила тебя... – он поправился, – вас... давать обещание от имени беспартийных активистов”.

Работы накануне приезда москвичей стало множество. Бюро писало все какие-то отчеты и планы. Чуть ли не каждый вечер Софья Петровна с Наташей оставались на сверхурочную работу. Машинки глухо стучали в пустой комнате. Кругом, в коридорах и кабинетах, было темно. Софья Петровна любила эти вечера. Окончив работу, перед тем как из светлой комнаты выйти во тьму коридора, они с Наташей подолгу беседовали возле своих машинок. Наташа говорила мало, но прекрасно умела слушать. – Вы заметили, что у Анны Григорьевны (это была

предместкома) всегда грязные ногти? – спрашивала Софья Петровна. – А еще носит камею, завивается. Лучше бы руки почаще мыла... Эрна Семеновна ужасно действует мне на нервы. Она такая наглая... И вы заметили, Наташа, что Анна Григорьевна всегда как-то иронически отзывается о парторге? Не любит она его... – Поговорив о предместкома и парторге, Софья Петровна рассказывала Наташе о своем романе с Федором Ивановичем и о том, как Коля упал под корыто, когда ему было полгода. И какой это был хорошенький мальчик, на улице все оборачивались. Его одевали во все белое: белая пелеринка и белый капор. Наташе как-то не о чем было рассказывать – ни одного романа. “Впрочем, с таким цветом лица...” – думала Софья Петровна. В жизни Наташи были одни неприятности. Отец ее, полковник, умер в 17-м году от разрыва сердца. Наташе тогда едва исполнилось пять лет. Дом у них отняли, и они вынуждены были переехать к какой-то парализованной родственнице. Мать ее была избалованная, беспомощная женщина, они жестоко голодали, и Наташа чуть ли не с пятнадцати лет поступила на службу. Теперь Наташа осталась совсем одна: мать в позапрошлом году умерла от туберкулеза, родственница скончалась от старости. Наташа сочувствовала советской власти, но когда она подала заявление в комсомол – ее не приняли. “Мой отец был полковник и домовладелец, и, понимаете, мне не верят, что я могу сочувствовать искренно, – говорила Наташа, шурясь. – С марксистской точки зрения, может быть, это и правильно...”

У нее краснели веки каждый раз, как она рассказывала об этом отказе, и Софья Петровна поспешно переводила разговор на другое.

Наступил торжественный день. Портреты Ленина и Сталина вставили в новые рамы, собственноручно принесенные завхозом, письменный стол директора покрыли красным сукном. Московские гости – двое полных мужчин в заграничных костюмах, в заграничных галстуках и с заграничными вечными перьями в верхних карманах – сидели рядом с директором за столом под портретами и вынимали бумаги из туго набитых заграничных портфелей. Парторг в косовороточке и в пиджачке казался рядом с ними совсем невзрачным. Лихой завхоз и лифтерша Марья Ивановна то и дело вносили на подносах чай, бутерброды и фрукты, предлагали их гостям и директору, а затем уже и всем присутствующим.

От волнения Софья Петровна не в силах была слушать речи. Как замороженная смотрела она, не отрывая глаз, на колеблющуюся воду графина. По слову председателя она подошла к столу, повернулась сначала лицом к директору и гостям, потом спиной к ним, потом стала боком и сложила руки у пояса, как ее учили в детстве, когда она декламировала французские поздравительные стихи. – От имени беспартийных работников, – сказала она дрожащим голосом, и потом дальше все свое обещание о повышении производительности труда – все, что они составили вместе с Наташей и она выучила наизусть.

Вернувшись домой, она долго не ложилась спать, поджидая Колю, чтобы рассказать ему о собрании. Коля сдавал последние школьные зачеты и все вечера проводил у своего любимого товарища Алика Финкельштейна: они занимались вместе. Софья Петровна прибрала кое-что в комнате и вышла в кухню разжигать примус. “Какая жалость, что вы не служите, – сказала она добродушной жене милиционера, которая мыла посуду. – Столько впечатлений, это так много дает в жизни. Особенно если ваша служба имеет касательство к литературе”.

...Коля явился голодный и промокший под первым весенним дождем, и Софья Петровна поставила перед ним тарелку шей. Облокотись на стол против Коли и глядя, как он ест, она только что собралась рассказать ему про свое выступление, как – “знаешь, мама? – сказал он, – я теперь комсомолец, меня сегодня утвердили на бюро”. Сообщив эту новость, он без передышки перешел к другой, набивая полный рот хлебом: в школе у них случился скандал. – “Сашка Ярцев – этакий старорежимный балбес... («Коля, я не люблю, когда ты ругаешься», – перебила Софья Петровна.) Да не в этом дело: Сашка Ярцев обозвал Алика Финкельштейна жидом. Мы сегодня на ячейке постановили устроить показательный товарищеский суд. Знаешь, кого назначили общественным обвинителем? Меня!”

Пужинав, Коля сразу лег спать, и Софья Петровна тоже легла за своей ширмой, и в темноте Коля читал ей наизусть Маяковского. “Правда, мама, гениально?” – и, когда он дочитал, Софья Петровна рассказала ему о собрании. “Ты, мама, молодец”, – сказал Коля и сейчас же заснул.

### 3

Коля окончил школу, наступило душное лето, а Софье Петровне все не давали отпуска. Дали только в конце июля. Ехать она никуда не собиралась, но весь июль жадно мечтала о том, как будет по утрам отсыпаться и как переделает наконец всю домашнюю работу, которую из-за службы никогда не успевала сделать. Она мечтала отдохнуть от барабанной дроби машинок, и подыскать Коле демисезонное пальто, и съездить наконец на кладбище, и позвать маляра, чтобы выкрасить заново дверь. Но вот отпуск наконец наступил, и оказалось, что отдыхать приятно только в первый день. Софья Петровна, по служебной привычке, все равно просыпалась не позже восьми; маляр за полчаса выкрасил дверь; могила Федора Ивановича была в полном порядке; пальто куплено сразу; носки зачинены в два вечера. И потянулись длинные, пустые дни, с тиканьем часов, разговорами в кухне и ожиданием Коли к обеду. Коля теперь целыми днями пропадал в библиотеке: готовился вместе с Аликом в вуз, в машиностроительный институт, и Софья Петровна почти не видала его. Изредка навещалась усталая Наташа Фроленко (она замещала Софью Петровну в бюро), Софья Петровна с жадностью расспрашивала ее про секретаршу директора, про ссору предместкома с парторгом, про орфографические ошибки Эрны Семеновны. И про обсуждение в кабинете у директора повести того симпатичного писателя. Весь редакционный сектор собрался... “Неужели кому-нибудь может не понравиться? – всплескивала руками Софья Петровна. – Там ведь так красиво описана первая чистая любовь. Совсем как у нас с Федором Ивановичем”.

Теперь уже Софья Петровна вполне соглашалась с Колей, когда он толковал ей о необходимости для женщин общественно полезного труда. Да и все, что говорил Коля, все, что писали в газетах, казалось ей теперь вполне естественным, будто так и писали и говорили всегда. Вот только о бывшей квартире своей теперь, когда Коля вырос, Софья Петровна сильно сожалела. Их уплотнили еще во время голода, в самом начале революции. В бывшем кабинете Федора Ивановича поселили семью милиционера Дегтяренко, в столовой – семью бухгалтера, а Софье Петровне с Колей оставили Колину бывшую детскую. Теперь Коля вырос, теперь ему необходима отдельная комната, ведь он уже не ребенок. “Но, мама, разве это справедливо, чтобы Дегтяренко со своими детьми жил в подвале, а мы в хорошей квартире? Разве это справедливо? скажи!” – строго спрашивал Коля, объясняя Софье Петровне революционный смысл уплотнения буржуазных квартир. И Софья Петровна вынуждена была согласиться с ним: это и в самом деле не вполне справедливо. Жаль только, что жена Дегтяренко такая грязнуха: даже в коридоре слышен кислый запах из ее комнаты. Форточку открыть боится как огня. И близнецам ее уже шестнадцатый год пошел, а они все еще пишут с ошибками.

В потере квартиры Софью Петровну утешало новое звание: жильцы единогласно выбрали ее квартуполномоченной. Она стала как бы хозяйкой, как бы заведующей своей собственной квартирой. Она мягко, но настойчиво делала замечания жене бухгалтера насчет сундуков, стоящих в коридоре. Она высчитывала, сколько с кого причитается платы за электроэнергию, с той же аккуратностью, с какой на службе собирала членские профсоюзные взносы. Она регулярно ходила на собрания квартуполномоченных в ЖАКТе и потом подробно докладывала жильцам, что говорил управдом. Отношения с жильцами были у нее в общем хорошие. Если жена Дегтяренко варила варенье, то всегда вызывала Софью Петровну в кухню попробовать: довольно ли сахару? Жена Дегтяренко часто заходила и в комнату к Софье Петровне – посоветоваться с Колей: что бы такое придумать, чтобы близнецы, не дай бог, снова не остались

на второй год? и посудачить с Софьей Петровной о жене бухгалтера, медицинской сестре. – Этакой милосердной сестрице попадись только, она тебя разом на тот свет отправит! – говорила жена Дегтяренко.

Сам бухгалтер был уже пожилой человек, с обвислыми щеками, с синими жилками на руках и на носу. Он был запуган женою и дочерью, и его совсем не было слышно в квартире. Зато дочка бухгалтера, рыжая Валя, сильно смущала Софью Петровну фразочками “а я ей как дам!”, “а мне наплевать!” – и у жены бухгалтера, Валиной матери, был и в самом деле ужасный характер. Стоя с неподвижным лицом возле своего примуса, она методически пилила жену милиционера за коптящую керосинку или кротких близнецов за то, что они не заперли дверь на крюк. Она была из дворянок, брызгала в коридоре одеколоном с помощью пульверизатора, носила на цепочке брелоки и разговаривала тихим голосом, еле-еле шевеля губами, но слова употребляла удивительно грубые. В дни получки Валя начинала клянчить у матери денег на новые туфли. – Ты не воображай, кобыла, – ровным голосом говорила мать, и Софья Петровна поспешно скрывалась в ванную комнату, чтобы не слышать продолжения, – в ванную, куда скоро вбегала Валя отмывать свою запухшую, зареванную физиономию, произнося в раковину все те ругательства, которые она не посмела произнести в лицо матери.

Но в общем квартира 46 была благополучной, тихой квартирой – не то что 52, над нею, где чуть ли не каждую шестидневку, накануне выходного, случались настоящие побоища. Сонного после дежурства Дегтяренко регулярно вызывали туда составлять протокол вместе с дворником и управдомом.

Отпуск тянулся, тянулся – между кухней и комнатой – и кончился, к большой радости Софьи Петровны. Зачастили дожди, желтые листья валялись возле Летнего сада, вдавленные в грязь каблуками, – и Софья Петровна, в калошах и с зонтиком, уже снова ежедневно ходила на службу, ждала по утрам трамвая и ровно в го часов, облегченно вздохнув, вешала на доску свой номерок. Снова вокруг нее стучали и звенели машинки, шелестела бумага, щелкала, закрываясь и открываясь, дверца; Софья Петровна с достоинством вручала пожилой секретарше директора аккуратно сложенные, сколотые, пахнущие копиркой листы. Она клеивала марки в членские профсоюзные книжки, заседала в месткоме по вопросам укрепления трудовой дисциплины и некорректного поступка одной машинистки с одной курьершей. Она по-прежнему побаивалась хмурого парторга, товарища Тимофеева, по-прежнему не любила председательницу месткома с грязными ногтями, втайне обожала директора и завидовала его секретарше – но все они уже были для нее своими, привычными людьми, она чувствовала себя на месте, уверенно, и, уже не стесняясь, громко делала замечания наглой Эрне Семеновне. И за что только ее держат? Нужно будет поставить вопрос на месткоме.

Коля и Алик выдержали экзамены в машиностроительный институт. Прочтя свои фамилии в списке принятых, они, на радостях, решили поставить в комнате радиоприемник. Софья Петровна не любила, когда Коля и Алик сооружали что-нибудь техническое у нее в комнате, но она сильно надеялась, что радио обойдется ей все же дешевле, чем буер. Окончив школу, Коля затеял построить буер, чтобы зимою кататься на собственном буере по Финскому заливу. Он приобрел какую-то книжку о буере, раздобыл бревна, внес их вместе с Аликом в комнату – и не то что подметать пол, но и просто передвигаться по комнате сразу сделалось невозможно. Бревна оттеснили обеденный стол к стене, диван – к окну; они лежали на полу огромным треугольником, и Софья Петровна по сто раз в день спотыкалась о них. Однако все мольбы ее были напрасны. Напрасно объясняла она Коле и Алику, что жить ей стало так же неудобно, как если бы они привели в дом слона.

Они строгаи, измеряли, чертили, пилили до тех пор, пока не убедились с абсолютной ясностью, что автор брошюры о буере – невежда и буера по его чертежам не построишь.

Тогда они распилили бревна и покорно сожгли их в печке вместе с брошюрой. А Софья Петровна расставила вещи по местам и целую неделю нарадоваться не могла простору и чистоте своей комнаты.

Поначалу радио тоже приносило Софье Петровне одни огорчения. Коля и Алик завалили всю комнату проволокой, винтиками, болтиками, дощечками; до двух часов ночи ежевечерне спорили о преимуществах того или другого типа приемника; потом соорудили приемник, но не давали Софье Петровне ничего дослушать до конца, так как им хотелось поймать то Норвегию, то Англию; потом ими овладела страсть к усовершенствованию, и каждый вечер они пускались перестраивать приемник заново. Наконец Софья Петровна взяла дело в свои руки, и тогда оказалось, что радио действительно очень приятное изобретение. Она научилась сама включать и выключать его, запретила Коле и Алику к нему притрагиваться и по вечерам слушала «Фауста» или концерт из филармонии.

Наташа Фроленко тоже приходила послушать. Она брала с собой свое вышивание и садилась возле стола. У нее были умелые руки, она прекрасно вязала, шила, вышивала салфеточки и воротнички. Вся ее комната была уже сплошь увешана вышивками, и она принялась вышивать скатерть для Софьи Петровны.

По выходным дням Софья Петровна включала радио с самого утра: ей нравился важный, уверенный голос, повествующий о том, что в парфюмерный магазин № 4 привезли большую партию духов и одеколона, или о том, что на днях предстоит премьера новой оперетты. Она не могла удержаться и на всякий случай записывала все телефоны. Единственное, чем она не интересовалась совсем, – это были последние известия о международном положении. Коля усердно рассказывал ей про немецких фашистов, про Муссолини, про Чан Кайши – она слушала, но только из деликатности. Садясь на диван, чтобы прочесть газету, она прочитывала только происшествия и маленький фельетон или «В суде», а на передовой или телеграммах неизменно засыпала, и газета падала ей на лицо. Гораздо больше газет нравились ей переводные романы, которые Наташа брала в библиотеке: «Зеленая шляпа» или «Сердца трех».

Восьмое марта 1934 года было счастливым днем в жизни Софьи Петровны. Утром курьерша из издательства принесла ей корзину цветов. В цветах лежала карточка: «Беспартийной труженице Софье Петровне Липатовой, поздравление в день 8 Марта. Партийная организация и местком». Она поставила цветы на Колин письменный стол, под полку с Собранием сочинений Ленина, рядом с маленьким бюстом Сталина. Весь день у нее было тепло на душе. Она решила не выбрасывать эти цветы, когда они завянут, а непременно засушить их и спрятать в книгу на память.

#### 4

Шел третий год служебной жизни Софьи Петровны. Ей повысили ставку: теперь она получала уже не 250, а 375. Коля и Алик еще учились, но уже недурно зарабатывали в каком-то конструкторском бюро: чертили. Ко дню рождения Софьи Петровны Коля купил ей на собственные деньги маленький сервиз: молочник, чайник, сахарницу и три чашки. Узор на сервизе не очень-то понравился Софье Петровне – какие-то квадраты красные на желтом. Она предпочла бы цветы. Но фарфор был тонкий, хороший, да и не все ли равно? Это подарок от сына.

А сын стал красивый – сероглазый, чернобровый, высокий и такой уверенный, спокойный, веселый, каким даже в самые лучшие годы не бывал Федор Иванович. Всегда он как-то по-военному подтянут, чисто плотен и бодр. Софья Петровна смотрела на него с нежностью и неустанной тревогой, радуясь и боясь радоваться. Красавец собою, здоровяк, не пьет и не курит, почтительный сын и честный комсомолец. Алик, конечно, тоже юноша вежливый, работающий, но где уж ему до Коли?

Отец его – переплетчик в Виннице, куча ребят, бедность. Алик с малых лет живет в Ленинграде у тетки, а та, видно, не очень-то заботится о нем: локти заплатанные, сапоги худые. Сам он шупленький, невысокий. Да и ума в нем такого большого нет, как в Коле.

Одна мысль неустанно тревожила Софью Петровну: Коле пошел уже двадцать первый год, а у него все еще нету отдельной комнаты. Уж не мешает ли она своим постоянным присутствием Колиной личной жизни? Коля, кажется, там в институте влюбился в кого-то: она искусно допрашивала Алика – в кого? как ее зовут? сколько ей лет? хорошо ли она учится? кто ее родители? Но Алик отвечал уклончиво, и по глазам его видно было, что на предательство он не способен. Софья Петровна выпытала у него только имя: Ната. Но все равно, как бы ее там ни звали и серьезная ли это любовь или только увлечение, – все равно молодому человеку в его годы необходима отдельная комната. Софья Петровна поделилась своими тревожными мыслями с Наташей. Наташа молча выслушала ее, потом покраснела и сказала, что да... безусловно... конечно... Николаю Федоровичу лучше было бы в отдельной комнате... но впрочем... вот живет же она одна... без матери... и что же? ничего!..

Наташа сбилась и замолчала, и Софья Петровна так и не поняла, что, собственно, она хотела сказать.

Софья Петровна обдумывала со всех сторон, как бы ей обменять одну комнату на две, и начала даже откладывать деньги на книжку, чтобы приплатить, если понадобится. Но вопрос об отдельной комнате для Коли неожиданно потерял свою остроту: отличников учебы, Николая Липатова и Александра Финкельштейна, по какой-то там разверстке направляли в Свердловск, на Уралмаш, мастерами. Там не хватало итэ-эровцев. Институт же им предоставляли возможность кончить заочно. – Ты не беспокойся, мама, – сказал Коля, положив свою большую руку на маленькую руку Софьи Петровны, – ты не беспокойся, мы там с Аликом прекрасно заживем... Нам обещают комнату в общежитии... да Свердловск ведь и недалеко. Ты приедешь к нам как-нибудь... и... знаешь что? ты будешь нам посылки посылать.

С этого дня, возвращаясь со службы, Софья Петровна сразу же принималась пересчитывать Колино белье в комод, шить, штопать, отглаживать. Она отдала починить старый чемодан Федора Ивановича. Теперь уже то весеннее утро, когда они вместе с Федором Ивановичем купили этот чемодан в магазине Гвардейского общества, казалось бесконечно далеким и каким-то ненастоящим утром из какой-то ненастоящей жизни. Она с недоумением взглянула на лист “Нивы”, которым была оклеена поврежденная стенка: декольтированная дама с длинным шлейфом, с высокой прической поразила ее. Это тогда были такие моды.

Колин отъезд беспокоил и огорчал Софью Петровну, но она не могла налюбоваться на ловкость и аккуратность, с какой он упаковывал книги и большие блокноты, исписанные его отчетливым почерком, и сам зашил в пояс свой комсомольский билет. День отъезда все был через неделю и вдруг оказался завтра. – Коля, ты уже готов, Коля? – спросил Алик Финкельштейн, входя утром к ним в комнату, маленький, большеголовый, с торчащими ушами. – Что?

Новая куртка топорщилась у него на спине, кончики воротничка загибались. Коля большими шагами подошел к своему чемодану и поднял его так легко, будто он был пустой. Всю дорогу на вокзал он чуть ли не размахивал чемоданом, а бедный Алик еле волочил свой сундучок, отдуваясь и рукавом куртки отирая со лба пот. Коротконогий, большеголовый, он казался Софье Петровне похожим на комический персонаж мультипликационного фильма. Тетка Алика не потрудилась, разумеется, приехать на вокзал проводить его, и они втроем – Коля, Софья Петровна и Алик – чинно прохаживались по платформе в сырой мгле вокзала. Коля и Алик с азартом обсуждали вопрос: какая машина выносливее и легче – “фиат” или “паккард”? И только за пять минут до отхода поезда Софья Петровна вспомнила, что она ничего, ничего не сказала мальчикам ни о ворах в дороге, ни о прачке. Сдавая белье прачке, надо непременно считать его и записывать... И ни под каким видом не есть в столовых винегрет – он часто бывает вчерашний, несвежий, и легко можно заболеть брюшным тифом. Она

отвела Алика в сторону и вцепилась ему в плечо. – Алик, голубчик, – говорила она, – уж вы позаботьтесь, голубчик, о Коле...

Алик смотрел на нее сквозь очки большими добрыми глазами.

– Разве мне трудно? Я, конечно, буду приглядывать за Николаем. А что же?

Пора было в вагон. Коля и Алик через минуту появились у окна. Коля – высокий, Алик ему по плечо. Коля сказал что-то Софье Петровне, но сквозь стекло было не слышно. Он рассмеялся, снял кепку и обвел купе возбужденным, веселым взглядом. Алик показывал Софье Петровне буквы пальцами. “Не...” – разобрала она и замахала на него рукой, догадавшись: “не беспокойтесь”... Боже мой, ведь совсем дети едут!

Через минуту она шла по перрону назад, одна в толпе людей, все быстрее и быстрее, не замечая дороги и пальцами вытирая глаза.

## 5

После Колиного отъезда Софья Петровна еще меньше времени проводила дома. Сверхурочной работы в бюро всегда было вдоволь, и она чуть ли не каждый вечер оставалась работать, прикапливая деньги Коле на костюм: молодой инженер должен одеваться прилично.

В свободные вечера она приводила к себе Наташу пить чай. Они вместе заходили в гастроном на углу и выбирали себе два пирожных. Софья Петровна заваривала чай в чайничке с квадратами и включала радио. Наташа брала свое вышивание. В последнее время, по совету Софьи Петровны, она усердно пила пивные дрожжи, но цвет лица у нее не становился лучше.

В один из таких вечеров, уходя домой от Софьи Петровны, Наташа вдруг попросила подарить ей Колину последнюю карточку. – А то у меня в комнате только мамина карточка, и больше ничья, – объяснила она. Софья Петровна подарила ей Колю, красивого, глазастого, в галстук и воротничке. Фотограф удивительно схватил его улыбку.

Однажды, возвращаясь с работы, они зашли в кино – и с тех пор кино сделалось их любимым развлечением. Им обоим сильно нравились фильмы о летчиках и пограничниках. Белозубые летчики, совершавшие подвиги, казались Софье Петровне похожими на Колю. Ей нравились новые песни, зазвучавшие с экранов, – особенно “спасибо, сердце!” и “если скажет страна – будь героем”, нравилось слово “Родина”. От этого слова, написанного с большой буквы, у нее становилось сладко и торжественно на душе. А когда самый лучший летчик или самый мужественный пограничник падал навзничь, сраженный пулей врага, Софья Петровна хватала Наташину руку, как в дни молодости хватала руку Федора Ивановича, когда Вера Холодная внезапно вытаскивала маленький дамский револьвер из широкой муфты и, медленно его поднимая, целила в лоб подлецу.

Наташа снова подала заявление в комсомол, и ее снова не приняли. Софья Петровна очень сочувствовала Наташиному горю: бедная девушка так нуждалась в обществе! Да и почему, собственно, ее не принимают? Девушка трудящаяся и вполне предана советской власти. Работает прекрасно, прямо-таки лучше всех – это раз. Политически грамотная – это два. Она не то что Софья Петровна, она дня не пропустит, чтобы не прочитать “Правду” от слова до слова. Наташа во всем разбирается не хуже Коли и Алика, и в международном положении, и в стройках пятилетки. А как она волновалась, когда льды раздавили “Челюскин”, от радио не отходила. Из всех газет вырезывала фотографии капитана Воронина, лагерь Шмидта, потом летчиков. Когда сообщили о первых спасенных, она заплакала у себя за машинкой, слезы капали на бумагу, от счастья она испортила два листа. “Не дадут, не дадут погибнуть людям”, – повторяла она, вытирая слезы. Такая искренняя, сердечная девушка! И вот теперь ее опять не приняли в комсомол. Это несправедливо. Софья Петровна даже Коле написала о несправедливости, постигшей Наташу. Но Коля ответил, что несправедливость – понятие классовое и бдительность необходима. Все-таки Наташа из буржуазно-помещичьей семьи. Подлые фашистские

наймиты, убившие товарища Кирова, не выкорчеваны еще по всей стране. Классовые бои продолжаются, и потому при приеме в партию и в комсомол необходим строжайший отбор. Тут же он писал, что через несколько лет Наташу, наверное, примут, и сильно советовал ей конспектировать произведения Ленина, Сталина, Маркса, Энгельса. – Через несколько лет! – горько улыбнулась Наташа. – Николай Федорович забывает, что мне уже скоро двадцать четыре. – Тогда вас примут прямо в партию, – сказала ей Софья Петровна в утешение. – И что такое двадцать четыре года? Первая молодость. Наташа ничего не ответила, но, уходя домой в этот вечер, взяла у Софьи Петровны том Колиного Ленина.

Письма от Коли получались регулярно, раз в шестидневку, накануне выходного дня. Какой он прекрасный сын – не забывает, что мама беспокоится, а мало ли у него там дела! Возвращаясь со службы домой, Софья Петровна еще на лестнице, в самом низу, доставала из сумочки ключик, шла по лестнице быстро и, добежав наконец до четвертого этажа, задыхаясь, отворяла голубой почтовый ящик. Письмо в желтом конверте уже ждало ее. Не снимая пальто, она садилась у окна и расправляла аккуратно сложенные листки блокнота. “Здравствуй, мама! – начиналось каждое письмо. – Надеюсь, что ты здорова. Я тоже здоров. Выработка на нашем заводе за последнюю шестидневку достигла...” Письма были длинные, но все больше о заводе, о росте стахановского движения, а о себе, о своей жизни – ни слова. “Ты подумай только, – писал Коля в первом письме, – и червячные, и фрезы, и даже броши – все у нас еще заграничное, за все золотом расплачиваемся с капиталистами, а сами никак не можем освоить”. Но Софью Петровну не фрезы интересовали. Ей бы узнать: как они там питаются с Аликом, добросовестная ли у них прачка? хватает ли у них денег? И когда же они занимаются? по ночам, что ли? На все эти вопросы Коля отвечал крайне бегло и невразумительно. Софье Петровне так хотелось представить себе их комнату, их быт, их обед, что она, по совету Наташи, написала письмо Алику.

Ответ пришел через несколько дней.

“Уважаемая Софья Петровна! – писал Алик. – Извините мою смелость, но вы напрасно беспокоитесь о здоровье Николая. Мы кушаем совсем неплохо. Я с вечера закупаю колбасу и утром сам жарю ее на сливочном масле.

Обедаем мы в столовке, из трех блюд, очень неплохо. Варенье, вами нам присланное, мы решили пить только с вечерним чаем, и таким путем его нам хватит надолго. Белье я тоже сдаю прачке по счету. Для занятий мы выделили специальные часы каждый день. Вы можете мне вполне поверить, что я все делаю для Николая, как его друг и товарищ, и стараюсь все для него”.

Письмо кончалось так:

“Николай успешно разрабатывает метод изготовления долбяков Феллоу в нашем инструментальном цехе. Про него в парткоме на заводе говорят, что это будущий восходящий орел”.

Конечно, восходит светило, а не орел, и Софья Петровна решительно не понимала, что такое долбяки Феллоу, – и все же эти строки наполнили ее сердце гордостью и восхищением.

Колины письма Софья Петровна аккуратно складывала в коробку из-под писчей бумаги. Там у нее хранились жениховские письма Федора Ивановича, фотографии маленького Коли и фотография малютки Карины, родившейся на “Челюскине”. Туда же Софья Петровна положила и письмо Алика. Она испытывала нежность к Алику: он, несомненно, был предан Коле и так умел понять его!

Однажды, уже месяцев через десять после Колиного отъезда, Софья Петровна получила по почте внушительный фанерный ящик. Из Свердловска. От Коли. Ящик был такой тяжелый, что почтальон с трудом внес его в комнату и потребовал рубль на чай. “Швейная машина? – размышляла Софья Петровна. – Вот бы хорошо!” Свою она продала в трудные годы. Почтальон ушел. Софья Петровна взяла молоток и нож и вскрыла ящик. В ящике оказался черный стальной непонятный предмет. Он был заботливо засыпан стружками. Колесо не колесо, дуло

не дуло, бог знает что такое. Наконец на черной спине непонятого предмета Софья Петровна обнаружила ярлык, написанный Колиной рукой: “Мамочка, посылаю тебе первую шестеренку, нарезанную долбяком Феллоу, изготовленным на нашем заводе по моему методу”. Софья Петровна засмеялась, похлопала шестеренку по спине и, пыхтя, отнесла ее на подоконник. Каждый раз, как она взглядывала на нее, ей становилось весело.

Через несколько дней, утром, когда Софья Петровна допивала чай, торопясь на службу, в ее комнату внезапно влетела Наташа. Волосы ее, мокрые от снега, были растрепаны, один ботинок расстегнут. Она протянула Софье Петровне мокрую газету.

– Смотрите... Я сейчас на углу купила... читаю просто так... и вдруг вижу: Николай Федорович. Коля.

На первой странице “Правды” Софья Петровна увидела Колино улыбающееся белозубое лицо. Фотография изменила и немного состарила его, но, безо всякого сомнения, это он, ее сын, Коля. Под портретом было написано:

“Энтузиаст производства, комсомолец Николай Липатов, разработавший метод изготовления долбяков Феллоу на Уральском машиностроительном заводе”.

Наташа обняла Софью Петровну и поцеловала ее в щеку.

– Софья Петровна, милая! – умоляюще сказала она, – пожалуйста, pošлемте ему телеграмму!

Софья Петровна никогда еще не видела Наташу такой возбужденной. Да у нее и у самой тряслись руки, и она никак не могла найти свой портфель. Телеграмму они сочинили на службе, во время обеденного перерыва, и отправили после работы. Все поздравляли Софью Петровну; на службе ее поздравила с таким сыном даже Эрн Семеновна, а дома – даже медицинская сестра. Вечером, ложась в постель, счастливая и усталая, Софья Петровна впервые подумала, что Наташа, наверное, влюблена в Колю. Как это она раньше не догадалась!

Хорошая девушка, воспитанная, работающая, только очень уж некрасивая и старше его. Засыпая, Софья Петровна старалась представить себе ту девушку, которую полюбит Коля и которая станет его женой: высокую, свежую, розовую, с ясными глазами и светлыми волосами – очень похожую на английскую открытку, только со значком КИМа на груди. Ната? Нет, лучше Светлана. Или Людмила: Милочка.

## 6

Приближался новый, тысяча девятьсот тридцать седьмой год. Местком принял решение устроить елку для детей служащих издательства. Организация праздника была поручена Софье Петровне. Она кооптировала себе в помощницы Наташу, и работа у них закипела. Они звонили по телефонам на квартиры служащих, узнавая имена и возраст ребят; отстукивали на машинке приглашения; бегали по магазинам, закупая пастилу, пряники, стеклянные шары и хлопушки; сбились с ног, отыскивая снег. Самое важное и самое трудное было решить, какой подарок сделать кому из ребят так, чтобы не выйти из лимита и в то же время чтобы все были довольны. Из-за подарка девочке директора Софья Петровна и Наташа даже немного поссорились. Софья Петровна хотела купить ей большую куклу – побольше, чем другим девочкам, – а Наташа находила, что это будет бестактно. Помирились на хорошенькой дудочке с пушистой кисточкой. Наконец осталось купить только елку. Они купили высокую, до потолка, с широкими, густыми лапами. Наташа, Софья Петровна и лифтерша Марья Ивановна украшали елку с раннего утра и до двух часов дня накануне праздника. Марья Ивановна развлекала их рассказами о жене директора; про самого директора она говорила, как в старое время: “они”. Лифтерша подавала Наташе и Софье Петровне шары, хлопушки, почтовые ящички, серебряные кораблики, а Наташа и Софья Петровна вешали их на елку. Скоро у Софьи Петровны заболели ноги, и она уселась в кресло и, сидя, вкладывала в пакетики с конфетами записочки: “Спасибо

товарищу Сталину за счастливое детство». Украшать продолжала одна Наташа. У нее были умелые руки и бездна вкуса: Деда Мороза укрепила она удивительно эффектно. Потом Софья Петровна вклеила кудрявую головку маленького Ленина в середину большой красной пятиконечной звезды, Наташа водрузила звезду на верхушку елки – и все было закончено. Они сняли со стены портрет Сталина во весь рост и заменили его другим – Сталин сидит с девочкой на коленях. Это был любимый портрет Софьи Петровны.

Три часа. Пора домой – полежать немного, пообедать и переодеться перед праздником.

Праздник удался на славу. Явились все ребята и почти все папы и мамы. Жена директора не приехала, но директор приехал и сам привез свою маленькую девочку, очаровательную крошку с белокурыми волосиками. Дети радовались подаркам, родители громко восхищались елкой. Только Анна Григорьевна, председательница месткома, обиделась, что сыну ее подарили барабан, а не оловянных солдатиков, как сыну парторга; солдатики стоили дороже. Она была в зеленом шелковом платье и даже декольте. Сын ее, долговязый, неприятный мальчик, присвистнул, демонстративно ткнул барабан кулаком и прорвал его. Но все остальные были довольны. Дочка директора без устали трубила в свою трубу, подпрыгивая между колен отца, упираясь маленькой пухлой рукой в его колено и запрокидывая голову назад, чтобы видеть елку.

Софья Петровна чувствовала себя настоящей хозяйкой бала. Она заводила патефон, включала радио, показывала лифтерше глазами, кому поднести блюдо с пастилой. Ей было жаль Наташу, которая робко жалась к стене, бледно-серая, в своей нарядной, новой, собственноручно вышитой блузке. Директор, согнувшись, водил девочку вокруг елки и пугал ее Дедом Морозом. Софья Петровна с умилением смотрела на эту сцену: ей хотелось, чтобы Коля во всем походил на директора. Кто знает, быть может, годика через два и у нее будет такая же милая внучка. Или внук. Она уговорит Колю внука назвать Владлен – очень красивое имя! – а внучку – Нинель – имя изящное, французское, и в то же время, если читать с конца, получается Ленин.

Софья Петровна, усталая, опустилась в кресло. Пора бы уж и домой, у нее начиналась мигрень. К ней подошел представительный бухгалтер и, любезно нагнувшись, поведал странную новость: в городе арестовано множество врачей.

Бухгалтер был лично знаком со всеми медицинскими светилами города: экзема его не поддавалась ничьему лечению, один только покойный Федор Иванович умел согнать ее. (“Да, вот это был врач! Другие все присыпают, мажут, а толку никакого...”) Среди арестованных бухгалтер назвал доктора Кипарисова, сослуживца Федора Ивановича, Колиного крестного. – Как? Доктор Кипарисов?.. Не может быть! И что случилось? Разве опять какое-нибудь... несчастье?.. – спросила Софья Петровна, не решаясь произнести “убийство”. Бухгалтер возвел очи горе и отошел, ступая почему-то на цыпочках. Два года назад, после убийства Кирова (о! какие это были мрачные дни! по улицам ходили патрули... а когда ждали товарища Сталина – вокзальная площадь оцеплена войсками... улицы, переулки перекрыты... ни пройти, ни проехать), после убийства Кирова тоже было много арестов, но тогда сначала брали каких-то оппозиционеров, а потом “бывших”, всяких там “фон-баронов”. А теперь вот врачей. После убийства Кирова выслали как дворянку m-me Неженцеву, старинную приятельницу Софьи Петровны, – они в гимназии вместе учились. Софья Петровна была поражена: какое отношение m-me Неженцева могла иметь к убийству? Преподает в школе французский язык и живет, как все. Но Коля объяснил, что Ленинград необходимо очистить от ненадежного элемента. “А кто такая, собственно говоря, эта твоя m-me Неженцева? Ведь ты сама помнишь, мама, что она не признавала Маяковского и говорила всегда, что в старое время все было дешевле. Она – не советский человек...” Ну хорошо, а врачи? Они чем провинились? Подумать только – Иван Игнатьевич Кипарисов! Такой почтенный врач!

Ребята шумели в раздевалке. Софья Петровна, в качестве хозяйки, помогала родителям разыскивать рейтузы и ботики. Директор с девочкой на руках подошел к ней проститься. Он поблагодарил местком за прекрасный праздник. – Я видел в “Правде” портрет вашего сына, – сказал он ей, улыбаясь. – Хорошая у нас смена подросла. . . – Софья Петровна смотрела на него с обожанием. Ей хотелось сказать ему, что он еще никакого права не имеет говорить о смене, – что такое тридцать пять лет? первая молодость! – но она не решилась. Он сам одел девочку и поверх шубки закутал ее в белый пушистый платок. Как он все умеет! Мать может спокойно отпускать с ним ребенка. Сразу видно – прекрасный семьянин.

## 7

В газетах ничего не писали про врачей и про доктора Кипарисова. Софья Петровна собиралась зайти к т-те Кипарисовой и все не могла собраться. Времени не было, да и неловко как-то. Она не видала Кипарисову года три уже. Как это она ни с того ни с сего вдруг зайдет?

В январе начали появляться в газетах статьи о новом предстоящем процессе. Процесс Каменева и Зиновьева сильно поразил воображение Софьи Петровны, но она с непривычки к газетам не следила за ним изо дня в день. А на этот раз Наташа втянула ее в чтение газет, и они ежедневно прочитывали вместе все статьи о новом процессе. Очень уж упорно заговорили вокруг о фашистских шпионах, о террористах, об арестах. . . Подумать только, эти негодяи хотели убить родного Сталина. Это они, оказывается, убили Кирова. Они устраивали взрывы в шахтах. Пускали поезда под откос. И чуть ли не в каждом учреждении были у них свои ставленники.

Одна машинистка в бюро, только что вернувшаяся из дома отдыха, рассказала, что в соседней с нею комнате жил молодой инженер, она даже иногда с ним по парку гуляла. Один раз ночью вдруг приехала машина, и его арестовали: он оказался вредителем. А на вид такой приличный – и не узнаешь.

В доме Софьи Петровны, в квартире 45, напротив, тоже кого-то арестовали – коммуниста какого-то. Комнату его запечатали красными печатями. Софье Петровне рассказал управдом.

Софья Петровна по вечерам надевала очки – у нее в последнее время развилась даль-нозоркость – и читала вслух газету Наташе. Скатерть была уже кончена – Наташа вышивала теперь накидку Софье Петровне на постель. Они говорили о том, как, наверное, возмущен сейчас Коля. Да и не только Коля: возмущены все честные люди. Ведь в поездах, пущенных под откос вредителями, могли быть маленькие дети! Какое бессердечие! Изверги! Недаром троцкисты тесно связаны с гестапо: они и в самом деле не лучше фашистов, которые в Испании убивают детей. И неужели, неужели доктор Кипарисов участвовал в их бандитской шайке? Его не раз приглашали на консилиумы вместе с Федором Ивановичем. После консилиума Федор Иванович привозил его домой попить чайку, посидеть. Софья Петровна видала его совсем близко – вот как сейчас Наташу видит. И теперь он вступил в бандитскую шайку! Кто бы мог ожидать? Такой почтенный старик.

Однажды вечером, прочитав в газете перечень преступлений, совершенных подсудимыми, прослушав тот же перечень по радио, они с Наташей так ясно представили себе оторванные руки и ноги, горы изуродованных трупов, что Софье Петровне сделалось страшно остаться одной у себя в комнате, а Наташе страшно одной идти по улице. В эту ночь Наташа ночевала у нее на диване.

Всюду, на всех предприятиях, во всех учреждениях собирались митинги, и в их издательстве тоже состоялся митинг, посвященный процессу. Предместкома заранее обошла все комнаты и предупредила, что если есть такие несознательные, которые хотят уйти до собрания, то пусть имеют в виду: выходная дверь заперта. На собрание явились поголовно все, даже работники редакционного сектора, которые обыкновенно манкировали. Выступил директор и

кратко, сухо и точно изложил газетные сообщения. После него говорил парторг, товарищ Тимофеев. Остановившаяся после каждых двух слов, он сказал, что враги народа орудуют повсюду, что они могут проникнуть и в наше учреждение, и потому всем честным работникам необходимо неустанно повышать свою политическую бдительность. Затем слово было предоставлено председателнице месткома, Анне Григорьевне. – Товарищи! – произнесла она, опустила веки и смолкла. – Товарищи! – она сжала тонкие пальцы с длинными ногтями. – Подлый враг протянул свою грязную лапу и к нашему учреждению. – Все замерли. Камея опускалась и поднималась на полной груди Анны Григорьевны. – Предыдущей ночью арестован бывший заведующий нашей типографией, ныне разоблаченный враг народа Герасимов. Он оказался родным племянником московского Герасимова, разоблаченного месяц назад. При попустительстве нашей партийной организации, страдающей, по меткому выражению товарища Сталина, идиотской болезнью беспечности, Герасимов продолжал, с позволения сказать, “работать” в нашей типографии уже после разоблачения его родного дяди, московского Герасимова.

Она села. Грудь ее поднималась и опускалась.

– Вопросов нет? – осведомился директор, председательствовавший на этом собрании.

– А что они... сделали... в типографии? – робко спросила Наташа.

Директор кивнул предместкома.

– Что сделали? – высоким голосом отозвалась она, поднявшись со стула. – Я, кажется, товарищ Фроленко, ясно русским языком объяснила здесь, что наш бывший заведующий типографией Герасимов оказался родным племянником того, московского, Герасимова. Он осуществлял повседневную родственную связь со своим дядей... разваливал в типографии стахановское движение... срывал план... по указаниям родственника. При преступном попустительстве нашей партийной организации.

Наташа больше не спрашивала.

Вернувшись после собрания домой, Софья Петровна села писать письмо Коле. Она написала ему, что у них в типографии открылись враги. А на Уралмаше? Все ли там благополучно? Как честный комсомолец, Коля обязан быть бдительным.

В издательстве явственно ощущалось какое-то странное беспокойство. Директора ежедневно вызывали в Смольный. Хмурый парторг то и дело входил в бюро, отпирая дверь собственным французским ключом, и вызывал Эрну Семеновну в спецчасть. Вежливый бухгалтер, которому откуда-то всегда все было известно, рассказал Софье Петровне, что партийная организация заседает теперь каждый вечер. – Милые бранятся, – сказал он, многозначительно усмехаясь. – Анна Григорьевна во всем обвиняет парторга, а парторг директора. Насколько я понимаю, предстоит смена кабинета.

– В чем обвиняет? – спросила Софья Петровна.

– Да вот... никак договориться не могут, кто из них Герасимова проглядел.

Софья Петровна ничего толком не поняла и в этот день ушла из издательства в какой-то смутной тревоге. На улице она обратила внимание на высокую старуху в платке поверх шапки, в валенках, в калошах и с палкой в руке. Старуха шла, выискивая палкой, где не скользко. Лицо ее показалось Софье Петровне знакомым. Да это Кипарисова! Неужели она? Боже, как она изменилась!

– Мария Эрастовна! – окликнула ее Софья Петровна.

Кипарисова остановилась, подняла большие черные глаза и с видимым усилием изобразила на лице приветливую улыбку.

– Здравствуйте, Софья Петровна! Сколько лет, сколько зим! Сынок-то ваш, верно, взрослый уже? – Она стояла, держа Софью Петровну за руку, но не глядя ей в лицо. Огромные глаза ее в смятении бегали по сторонам.

– Мария Эрастовна, – сердечно сказала Софья Петровна. – Я так рада, что встретила вас. Я слышала, у вас неприятности... с Иваном Игнатьевичем... Послушайте, мы ведь с вами

друзья... Иван Игнатъевич Колю крестил... конечно, это теперь не считается, но мы-то ведь с вами старые люди. Скажите, Ивана Игнатъевича обвиняют в чем-нибудь серьезном? Неужели эти обвинения имеют под собой какую-нибудь почву? Я просто не могу, не могу поверить. Такой прекрасный, такой почтенный врач! Муж всегда уважал его и как клинициста ставил выше себя.

– Иван Игнатъевич ничего не сделал против советской власти, – угрюмо сказала Кипарисова.

– Я так и думала! – воскликнула Софья Петровна. – Я ни минуты в этом не сомневалась, я так всем и говорила...

Кипарисова мрачно смотрела на нее черными огромными глазами.

– До свиданья, Софья Петровна, – сказала она без улыбки.

– Когда Иван Игнатъевич вернется, зовите меня на пирог, – проговорила Софья Петровна. – Да что вы, право, такая расстроенная? Раз Иван Игнатъевич не виноват, значит, все будет хорошо. В нашей стране с честным человеком ничего не может случиться. Просто недоразумение. Смотрите же, будьте молодцом... Пришли бы когда-нибудь чайку выпить!

Кипарисова зашагала по панели, постукивая палкой о лед.

“Неужели и я так же постарела? – думала Софья Петровна. – Лицо черное, все в морщинах. Да нет, не может быть, я еще не такая. Она просто распустилась уж очень: валенки, палка, платок... Для женщины много значит не распускаться, следить за собой. Ну кто теперь носит валенки? Не 18-й год. Вот и выглядит на шестьдесят пять – а ведь ей не больше пятидесяти... Хорошо, что Кипарисов не виноват. Уж кто-кто, а жена знает. Я так и думала, что это просто недоразумение и ничего больше”.

## 8

На следующий день машинописное бюро спешно кончало полугодовой отчет. Все знали, что ночью, со “Стрелой”, директор выедет в Москву, чтобы завтра доложить о полугодовой работе издательства в отделе печати ЦК партии. Софья Петровна торопила машинисток. Наташа писала, не отрываясь, весь обеденный перерыв.

В 3 часа отчет в четырех экземплярах лежал уже перед Софьей Петровной, и она аккуратно раскладывала его по четырем копиям. Не жалея зажимок, она ровненько скалывала листы.

А секретарша директора все не шла за отчетом. Софья Петровна решила сама отнести его в кабинет.

У полуоткрытых дверей директорского кабинета она столкнулась с парторгом. – Туда нельзя! – сказал он ей, не поклонившись, и, хромя, прошел в другую комнату. Вид у него был вострапанный.

Софья Петровна заглянула в полуоткрытую дверь. Перед письменным столом на коленях стоял незнакомый мужчина и вынимал из тумбочки бумаги. Весь ковер в кабинете был усыпан бумагами.

– В котором часу будет сегодня товарищ Захаров? – спросила Софья Петровна у пожилой секретарши.

– Он арестован, – одними губами, без голоса, ответила ей секретарша. – Сегодня ночью. Губы у нее были голубые.

Софья Петровна понесла отчет обратно в бюро. Когда она дошла до дверей бюро, она почувствовала, что у нее слабеют колени. Грохот машинок оглушил ее. Знают они уже или не знают? Они стучали, как будто ничего не случилось. Если бы ей сообщили, что директор умер, она была бы менее поражена. Она села на свое место и начала машинально снимать зажимки с листов. Вошел Тимофеев, открыв дверь собственным ключом. Софья Петровна впервые заме-

тила, что, несмотря на хромоту, парторг держится очень прямо и походка у него мерная. “Простите!” – сказала она испуганно, когда он, проходя мимо, нечаянно задел ее плечом.

В половине пятого раздался наконец звонок. Софья Петровна молча сошла с лестницы, молча оделась и вышла на улицу. Таяло. Софья Петровна остановилась перед лужей, сосредоточенно обдумывая, как бы ее обойти. К ней подошла Наташа. Наташа уже знала: ей сказала Эрна Семеновна.

– Наташа, – начала Софья Петровна, когда они дошли до угла, где обыкновенно прощались. – Наташа, вы верите, что Захаров виноват в чем-нибудь? Да нет, какая чепуха... Наташа, ведь мы-то знаем...

Она не могла подобрать слов, чтобы выразить свою уверенность. Захаров, большевик, их директор, которого они видели каждый день, Захаров – вредитель! Это была невозможность, чепуха, *реникса*, как говорил когда-то Федор Иванович. Недоразумение? Но ведь он такой видный партиец, его знали и в Смольном, и в Москве, его не могли арестовать по ошибке. Он не Кипарисов какой-нибудь!

Наташа молчала.

– Зайдемте к вам, я вам сейчас все объясню, – сказала вдруг Наташа с необычайной торжественностью.

Они пошли. Молча разделись. Наташа вынула из своего старенького портфельчика аккуратно сложенную газету.

Она развернула газету перед Софьей Петровной и указала ей подвал на вкладной странице.

Софья Петровна надела очки.

– Понимаете, дорогая, его могли завлечь, – шепотом сказала Наташа. – Женщина...

Софья Петровна принялась читать.

В статье рассказывалось о некоем советском гражданине А., честном партийце, который был командирован советским правительством в Германию с целью освоить применение недавно изобретенного химического препарата. В Германии он честно исполнял свой долг, но вскоре увлекся некоей С., элегантной молодой женщиной, сочувствовавшей якобы Советскому Союзу. С. нередко навещала гражданина А. у него на квартире. И вот однажды гражданин А. обнаружил пропажу из бюро серьезных политических документов. Квартирная хозяйка сообщила ему, что в его отсутствие в комнате побывала С. Гр-н А. имел мужество немедленно порвать связь с С., но сообщить о пропаже документов товарищам мужества у него не хватило. Он уехал обратно в СССР, надеясь честной работой советского инженера загладить свое преступление перед Родиной. Целый год он работал спокойно и начал уже забывать о своем преступлении. Однако замаскированные агенты гестапо, проникшие в нашу страну, начали его шантажировать. Запуганный ими А. выдал им секретные планы того завода, на котором работал. Доблестные чекисты разоблачили окопавшихся агентов фашизма, нити следствия привели к несчастному А.

– Вы понимаете? – шепотом спросила Наташа. – Нити следствия... Наш директор, конечно, хороший человек, честный партиец. Но ведь и гражданин А., тут пишут, тоже был сначала честным партийцем... Всякого честного партийца может опутать смазливая женщина.

Наташа терпеть не могла смазливых женщин. Она признавала только строгую красоту и не находила ее ни в ком.

– Говорят, наш директор бывал за границей, – вспомнила Наташа. – Тоже в командировке. Помните, лифтерша Марья Ивановна рассказывала, что он привез своей жене из Берлина голубой вязаный костюм?

Статья сильно смутила Софью Петровну, и все-таки ей еще не верилось. То какой-то А., а то их Захаров. Выдержанный партиец, сам докладывал о процессе. И при нем издательство всегда выполняло план с превышением.

– Наташа, ведь мы же знаем, – устало сказала Софья Петровна.

– Что мы знаем? – с азартом заговорила Наташа. – Мы знаем, что он был директором нашего издательства, а больше ничего мы, собственно, не знаем. Разве вам известна вся его жизнь? Разве вы можете за него поручиться?

И в самом деле: Софья Петровна не имела ни малейшего представления о том, чем был занят товарищ Захаров, когда не председательствовал на издательских собраниях и не водил девочку под елкой. Мужчины – все, все до единого – страшно любят смазливых женщин. Какая-нибудь наглая горничная – и та может прибрать к рукам любого мужчину, даже порядочного. Если бы Софья Петровна не выгнала Фани вовремя – еще неизвестно, чем кончилось бы ее заигрывание с Федором Ивановичем.

– Давайте чай пить, – сказала Софья Петровна.

За чаем они припомнили, что фигура Захарова отличалась военной выправкой. Прямая спина, широкие плечи. Уж не был ли он в свое время белым офицером? По возрасту он вполне мог успеть.

Они пили пустой чай. Обе были так утомлены, что поленились спуститься в магазин за булкой или пирожными. “Завтра будет тяжело в издательстве, – думала Софья Петровна. – Словно покойник в доме. Что ни говори, а жаль директора”. Она вспомнила полуоткрытую дверь кабинета и мужчину на коленях перед столом. Она только теперь поняла, что это был обыск.

Наташа собралась уходить. Она аккуратно сложила газету и спрятала ее в портфель. Потом налила себе в стакан кипятку и на прощанье стала греть о стакан свои большие красные руки. Они у нее были отморожены в детстве и всегда мерзли.

Вдруг раздался звонок. И второй. Софья Петровна пошла отворять. Два звонка – это к ней. Кто бы это так поздно?

За дверьми стоял Алик Финкельштейн.

Видеть Алика одного, без Коли, было противоестественно.

– Коля?! – вскрикнула Софья Петровна, схватив Алика за висящий конец его шарфа. – Брюшной тиф?

Алик, не глядя на нее, медленно снимал калоши.

– Тс-с-с! – выговорил он наконец. – Пройдемте к вам.

И он пошел по коридору, ступая на цыпочках, смешно раскорячивая свои короткие ноги.

Софья Петровна не помня себя шла за ним.

– Вы только не пугайтесь, ради бога, Софья Петровна, – сказал он, когда она притворила дверь, – спокойненько, пожалуйста, Софья Петровна, пугаться, право, не стоит. Ничего страшного нет. Поза-поза-позавчера... или когда это? ну, перед тем выходным... Колю арестовали...

Он сел на диван, двумя рывками развязал шарф, бросил его на пол и заплакал.

## 9

Нужно было сейчас же бежать куда-то и разъяснить это чудовищное недоразумение. Нужно было сию же минуту ехать в Свердловск и поднять на ноги адвокатов, прокуроров, судей, следователей. Софья Петровна надела пальто, шляпу, боты и вынула из шкатулки деньги. Не позабыть паспорт. Сейчас же на вокзал за билетом.

Но Алик, утерев лицо шарфом, сказал, что, по его мнению, ехать сейчас в Свердловск решительно не имеет никакого смысла. Колю, как коренного ленинградца, лишь недавно проживающего в Свердловске, скорее всего отвезут в Ленинград. Уж не лучше ли ей повременить с поездкой в Свердловск? Как бы она с ним не разминулась! Софья Петровна сняла пальто, бросила на стол паспорт и деньги.

– Ключи? Вы оставили там ключи? – закричала она, подступая к Алику. – Вы оставили кому-нибудь ключи?

– Ключи? Какие ключи? – оторопел Алик.

– Боже, какой же вы глупый! – выговорила Софья Петровна и вдруг заплакала громко, в голос. Наташа подбежала и обняла ее за плечи. – Да ключ... от комнаты... в вашем, как его... общежитии...

Они не понимали и смотрели на нее бессмысленными глазами. Какие дураки! А горло у Софьи Петровны теснило, и она не могла говорить. Наташа налила в стакан воды и протянула ей. – Ведь он... ведь его... – говорила Софья Петровна, отстраняя стакан, – ведь его... уже наверное... выпустили... увидели, что не тот... и выпустили... он вернулся домой, а вас нет... и ключа нет... Сейчас, наверное, будет от него телеграмма.

В ботах Софья Петровна повалилась на свою кровать. Она плакала, уткнувшись головой в подушку, плакала долго, до тех пор, пока и щека и подушка не стали мокрыми. Когда она поднялась, у нее болело лицо и кулаком стучало в груди сердце.

Наташа и Алик шептались возле окна. – Вот что, – сказал Алик, жалостливо глядя на нее из-под очков своими добрыми глазами, – мы договорились с Натальей Сергеевной. Вы себе ложитесь сейчас спать, а утром идите потихонечку в прокуратуру. Наталья Сергеевна скажет завтра в издательстве, что вы прихворнули... или что-нибудь еще... что у вас ночью угар был... я знаю!

Алик ушел. Наташа хотела остаться ночевать, но Софья Петровна сказала, что ей ничего, ничего не надо. Наташа поцеловала ее и ушла. Кажется, она тоже плакала.

Софья Петровна вымыла лицо холодной водой, разделась и легла. В темноте трамвайные вспышки молниями озаряли комнату. Белый квадрат света, как согнутый пополам лист бумаги, лежал на стене и на потолке. В комнате медицинской сестры еще взвизгивала и смеялась Валя. Софья Петровна представляла себе, как Колю, под конвоем, приводят к следователю. Следователь – красивый военный, весь в ремнях и карманах. “Вы – Николай Фомич Липатов?” – спрашивает Колю военный. “Я – Николай Федорович Липатов”, – с достоинством отвечает Коля. Следователь делает строгий выговор конвойным и приносит Коле свои извинения. “Ба! – говорит он, – как я сразу не узнал вас? Да ведь вы – тот молодой инженер, портрет которого я недавно видел в «Правде»! Простите, пожалуйста. Дело в том, что ваш однофамилец, Николай Фомич Липатов, – троцкист, фашистский наймит, вредитель...”

Всю ночь Софья Петровна ждала телеграммы. Вернувшись домой, в общежитие, и узнав, что Алик выехал в Ленинград, Коля немедленно даст телеграмму, чтобы успокоить мать. Часов в шесть утра, когда уже снова задрезжали трамваи, Софья Петровна уснула. И проснулась от резкого звонка, который, казалось, был проведен прямо ей в сердце. Телеграмма? Но звонок не повторился.

Софья Петровна оделась, умылась, заставила себя выпить чаю и прибрать комнату. И вышла на улицу – в полумглу. По-прежнему оттепель, но за ночь лужи подернулись легким ледком.

Сделав несколько шагов, Софья Петровна остановилась. Куда, собственно, следует идти?

Алик говорил: в прокуратуру. Но Софья Петровна не знала толком, что такое прокуратура, и не знала, где она. А расспрашивать прохожих про это место ей казалось стыдным. И она пошла не в прокуратуру, а в тюрьму, потому что случайно ей было известно, что тюрьма на Шпалерной.

У железных ворот стоял часовой с винтовкой. Маленькая парадная возле ворот была заперта. Софья Петровна тщетно толкала дверь рукой и коленом. И нигде не видно было ни одного объявления.

К ней подошел часовой.

– В девять часов пускать будут, – сказал он.

Было без двадцати восемь. Софья Петровна решила не уходить домой. Она прохаживалась взад и вперед мимо тюрьмы, задирая голову вверх и поглядывая на железные решетки.

Неужели это может быть, что Коля здесь, в этом доме, за этими решетками?

– Тут ходить нельзя, гражданка, – сказал часовой.

Софья Петровна перешла на другую сторону улицы и машинально побрела вперед. Налево она увидела широкую, снежную пустыню Невы.

Она свернула по улице налево и вышла на набережную.

Было уже совсем светло. Беззвучно, с поразительной дружностью, на Литейном мосту погасли фонари. Нева была завалена кучами грязного, желтого снега. “Наверное, сюда снег свозят со всего города”, – подумала Софья Петровна. Она обратила внимание на большую толпу женщин посреди улицы. Одни стояли, облокотившись на парапет набережной, другие медленно прохаживались по панели и по мостовой. Софью Петровну удивило, что все они были очень тепло одеты: поверх пальто закутаны в платки и почти все в валенках и в калошах. Они притоптывали ногами и дули на руки. “Видимо, они уже давно тут стоят, если так замерзли, – размышляла от нечего делать Софья Петровна, – а мороза-то нет, снова тает”. У всех этих женщин был такой вид, будто на полустанке, много часов подряд, они ожидали поезда. Софья Петровна внимательно оглядела дом, против которого толпились женщины, – дом обыкновенный, на нем никаких вывесок. Чего же они тут ожидают? В толпе были дамы в нарядных пальто, были и простые женщины. От нечего делать Софья Петровна прошла два раза через толпу. Одна женщина стояла с грудным ребенком на руках и за руку держала другого, повязанного шарфом крест-накрест. У стены дома одиноко стоял мужчина. Лица у всех были зеленоватые, – может быть, это в утренней мгле они казались такими?

К Софье Петровне вдруг подошла маленькая опрятная старушка с палочкой. Из-под котиковой, низко надвинутой шапки сверкали серебряные волосы и черные еврейские глаза.

– Вам список? – спросила старушка дружелюбно. – В парадной 28.

– Какой список?

– На “эл” и “эм”... Ах, извиняюсь, гражданка! Вы ходите здесь, так я подумала, вы тоже об арестованном.

– Да, о сыне... – с недоумением ответила Софья Петровна.

Отвернувшись от старушки, неприятно поразившей ее своей пронизательностью, Софья Петровна отправилась разыскивать парадную дома 28. Мысль, что все эти женщины пришли сюда за тем же, за чем пришла она, смутно зашевелилась в ее душе. Но почему они здесь, на набережной, а не возле тюрьмы? Ах, да, возле тюрьмы не позволяет стоять часовой.

Дом № 28 оказался облупленным особняком почти у самого моста. Софья Петровна вошла в парадную – роскошную, но грязную, с камином, с огромным разбитым трюмо и мраморным купидоном без одного крыла. На первой ступеньке величественной лестницы, подложив под спину газету, а под голову – заиндевевший портфель, свернувшись, лежала женщина.

– Записываться? – спросила она, подняв голову. Потом села и вынула из портфеля измятую бумажку и карандаш.

– Да я, собственно, не знаю, – растерянно произнесла Софья Петровна. – Я пришла поговорить о сыне, которого по ошибке арестовали в Свердловске... Понимаете ли, просто как однофамильца...

– Говорите, пожалуйста, тише, – с раздражением оборвала ее женщина. У нее было интеллигентное, усталое лицо. – Списки отбирают, и вообще... Как фамилия?

– Липатов, – робко ответила Софья Петровна.

– 344, – сказала женщина, записывая. – Ваш номер 344. Уходите отсюда, пожалуйста.

– 344, – повторила Софья Петровна и снова вышла на набережную.

Толпа все росла. “Ваш какой номер?” – то и дело спрашивали Софью Петровну. “Ну, вам сегодня не попасть, – сказала ей одна женщина, повязанная платком по-крестьянски. –

Мы-то еще с вечера записавшись...” “Список где?” – шепотом спрашивали другие... Было уже светло: наступил день.

И вдруг вся толпа кинулась бежать. Софья Петровна побежала со всеми. Громко заплакал ребенок, повязанный шарфом. У него были кривые ножки, и он еле поспевал за матерью. Толпа свернула на Шпалерную. Софья Петровна издали увидела, что маленькая дверь возле железных ворот уже открыта. Люди протискивались в нее, как в дверь трамвая. Втиснулась и Софья Петровна. И сразу стала: идти дальше было некуда. В полутемной прихожей и на маленькой деревянной лесенке толпились люди. Толпа колыхалась. Все разматывали платки, расстегивали вороты, и все пробирались куда-то: каждый искал предыдущий и последующий номер. А сзади все напирала и напирала люди. Софью Петровну крутило, как щепку. Она расстегнула пальто и вытерла платком лоб.

Переведя дыхание и привыкнув к полутьме, Софья Петровна тоже принялась отыскивать нужные номера: 343 и 345. 345 был мужчина, а 343 – сгорбленная, древняя старуха. “Ваш муж тоже латыш?” – спросила старуха, подняв на Софью Петровну мутные глаза. “Нет, почему же? – ответила Софья Петровна. – Почему именно латыш? Мой муж давно умер, но он был русский”.

– Скажите, пожалуйста, а у вас уже есть путевка? – спросила у Софьи Петровны старушка-еврейка с серебряными волосами – та, которая заговорила с ней на набережной.

Софья Петровна не ответила. Она ничего не понимала здесь. Женщина, лежащая на лестнице, теперь какие-то глупые вопросы о латыше, о путевке. Ну при чем тут путевка? Ей казалось, что она не в Ленинграде, а в каком-то незнакомом, чужом городе. Странно было думать, что в тридцати минутах ходьбы – ее служба, издательство, Наташа стучит на машинке...

Отыскав своих соседей, люди стояли спокойно. Софья Петровна разглядела: лесенка вела в комнату, и в комнате тоже толпой стояли люди, и, кажется, за этой комнатой была еще вторая. Софья Петровна исподлобья поглядывала вокруг. Вот женщина с портфелем, в шерстяных носках поверх чулок, в плохоньких туфельках, – это та самая, которая лежала на лестнице. К ней и тут то и дело подходят люди, но она уже не записывает их: поздно. Подумать только, все эти женщины – матери, жены, сестры вредителей, террористов, шпионов! А мужчина – муж или брат... На вид все они самые обыкновенные люди, как в трамвае или в магазине. Только все усталые, с помятыми лицами. “Воображаю, какое это несчастье для матери узнать, что сын ее вредитель”, – думала Софья Петровна.

Изредка по скрипучей узкой лесенке, с трудом протискиваясь сквозь толпу, спускалась женщина. – Передала? – спрашивали ее внизу. – Передала, – она показывала розовую бумажку. А одна, по виду молочница, с большим бидоном в руке, ответила – выслан! – и громко заплакала, поставив бидон, прислонившись головой к косяку двери. Платок пополз вниз, показались рыжеватые волосы и маленькие серьги в ушах. – Тише! – зашикали на нее со всех сторон. – Он шуму не любит, закроет окно, и все. Тише!

Молочница поправила платок и ушла со слезами на щеках.

Из разговоров Софья Петровна поняла, что большинство этих женщин пришли передать деньги арестованным мужьям и сыновьям, а некоторые – узнать, здесь ли муж или сын. У Софьи Петровны кружилась голова от духоты и усталости. Она очень боялась, что таинственное окошечко, к которому все стремились, закроется раньше, чем она успеет подойти к нему. – Если сегодня будет только до двух, нам с вами не попасть, – сказал ей мужчина. “До двух? Неужели до двух здесь стоять? – с тоской подумала Софья Петровна. – Ведь сейчас не больше десяти”.

Она закрыла глаза, стараясь осилить головокружение. Мерно гудели тихие, немногословные разговоры. – Вашего-то когда взяли? – Да уж третий месяц пошел. – А моего – две недели. – Скажите, вы не знаете, где еще можно навести справки? – В прокуратуре. Да нигде не говорят ничего. – А вы на Чайковской были? А на Герцена? – На Герцена военная. – Вашего-то когда взяли? – У меня дочка. – А на Арсенальной, говорят, белье принимают. – Вы кто, латыши

будете? – Нет, мы поляки. – Вашего-то когда взяли? – Да уж полгода. – А какие номера там идут? Двадцатые только? Господи боже мой, как бы он в два не закрыл! Прошедший раз аккуратно в два захлопнул!

Софья Петровна повторяла про себя, что она спросит: привезли ли Колю в Ленинград? Когда можно видеть судью – или кого там, следователя? И нельзя ли сегодня? И нельзя ли немедленно получить свидание с Колей?

Через два часа Софья Петровна, следом за древней старухой, вступила на первую ступеньку деревянной лестницы. Через три – в первую комнату. Через четыре – во вторую и через пять – следом за извивающейся очередью – снова в первую. Из-за спин она разглядела деревянное квадратное окошечко и в окошечке широкие плечи и большие руки тучного мужчины. Было 3 часа. Софья Петровна сосчитала – перед ней еще 59 человек.

Женщины, называя фамилию, робко протягивали в окошечко деньги. Кривоногий мальчик всхлипывал, облизывая языком слезы. “Ну, уж я-то с ним поговорю, – нетерпеливо думала Софья Петровна. – Пусть сейчас же проведет меня к следователю, к прокурору или к кому там... Как много еще у нас в быту некультурности! духота, вентиляции не могут устроить. Надо бы написать письмо в «Ленинградскую правду»”.

И вот наконец перед Софьей Петровной осталось только трое. На всякий случай она тоже приготовила деньги: пусть Коля пока что не стесняет себя. Сгорбленная старуха дрожащей рукой передала в окошечко 30 рублей и получила розовую квитанцию. Она вглядывалась в нее слепыми глазами. Софья Петровна торопливо стала на место старухи. Она увидела молодого, тучного человека, с белым опухшим лицом и маленькими сонными глазками.

– Я хотела бы узнать, – начала Софья Петровна, согнувшись, чтобы получше видеть лицо человека за окошечком, – здесь ли мой сын? Дело в том, что он арестован по ошибке...

– Фамилия? – перебил ее человек.

– Липатов. Его арестовали по ошибке, и вот уже несколько дней я не знаю...

– Помолчите, гражданка, – сказал ей человек, наклоняясь над ящиком с карточками. – Липатов или Лепатов?

– Липатов. Я хотела бы сегодня же повидаться с прокурором или к кому вам будет угодно меня направить...

– Буквы?

Софья Петровна не поняла.

– Звать-то его как?

– Ах, инициалы? Эн, эф.

– Нэ или мэ?

– Эн, Николай.

– Липатов, Николай Федорович, – сказал человек, вынимая из ящика карточку. – Здесь.

– Я хотела бы узнать...

– Справок мы не даем. Прекратите разговоры, гражданка. Следующий!

Софья Петровна поспешно протянула в окошечко тридцать рублей.

– Ему не разрешено, – сказал человек, отстраняя бумажку. – Следующий! Проходите, гражданка, не мешайте работать.

– Уходите! – шептали Софье Петровне сзади. – А то он окошко захлопнет.

Софья Петровна добралась до дома в шестом часу. У себя она застала Алика и Наташу. Она опустила на стул и несколько минут не в силах была снять с себя боты и пальто. Алик и Наташа смотрели на нее вопросительно. Она сообщила, что

Коля здесь, в тюрьме, на Шпалерной, и никак не могла объяснить им, почему она не узнала, по какому делу он арестован и когда можно будет получить с ним свидание.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.